

Российская академия наук
Институт славяноведения

**Проблемы изучения межъязыковых
влияний
в истории славянских
языков и диалектов: социокультурный
аспект**

Москва
2004

**Проблемы изучения межъязыковых
влияний
в истории славянских
языков и диалектов: социокультурный
аспект**

Тезисы

Издание осуществлено в рамках общего научного проекта «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (№ 10002-252/ОИФН-01/242-239/ 110703 –1047).

Ответственный редактор *Т.И. Вендина*

Сборник содержит материалы, подготовленные в рамках реализации проекта «Межъязыковые влияния в истории славянских языков и диалектов: социокультурный аспект». В тезисах докладов, прозвучавших на Круглом столе, освещаются различные стороны двухсторонних и многосторонних контактов славянских языков и культур как между собой, так и с соседними неславянскими языками и культурами, анализируется взаимодействия славянских литературных языков и диалектов. Сборник представляет интерес для специалистов в области славянского языкознания, теории и практики контактов, этнолингвистики.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т.И. Вендина</i> Из кирилло-мефодиевского наследия в языке русской культуры (концепты Истина и Правда)	4
<i>Г.К. Венедиктов</i> Из наблюдений над ранним русским влиянием на формирование болгарской канцелярско-административной лексики	20
<i>Е.И. Демина</i> К вопросу о семантической и грамматической структуре категории опосредованности оценки отношения действия к действительности: проблема адмиратива	24
<i>М.И. Ермакова</i> Отражение влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки в эпоху Национального Возрождения серболужичан	31
<i>В.С. Ефимова</i> О методике изучения влияния языка греческих оригиналов на словообразовательные процессы в старославянском языке	37
<i>А. Ф. Журавлев</i> Влияние русского литературного языка на народные говоры: лексика	43
<i>Л.Э. Калнынь</i> Психолингвистический аспект результата контактов русских диалектов с литературным языком	48
<i>Г.П. Клепикова</i> Особенности румынского влияния на языки карпато-балканского ареала	52
<i>Ф. Б. Людоговский</i> Церковнославянский и русский языки в языковой ситуации современной России: взаимоотношения и взаимовлияния	56
<i>Ф.Р. Минлос</i> Парные существительные в восточнославянских языках в контексте явления редупликации	62
<i>Г.П. Нецименко</i> Процессы внутриязыкового развития и их влияние на адаптацию заимствований	66
<i>Е.И. Якушкина</i> Балканославянская семантика судьбы в свете славяно-турецких языковых контактов	71

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник, включающий тезисы докладов, подготовлен участниками проекта «Межъязыковые влияния в истории славянских языков и диалектов: социолингвистический аспект»* к Круглому столу (декабрь 2004 г.), который посвящен обсуждению проблем, разрабатываемых в рамках указанного проекта, и некоторым предварительным итогам работы над ним. Авторы анализируют взаимодействия языков и диалектов (а также соответственно культур) в различные периоды истории славянских народов. Это эпоха становления первого письменного славянского языка – старославянского – и роль греческого влияния (Т.И. Вендина, В.С. Ефимова), Средневековье, новое и новейшее время, характеризующееся интенсивными контактами славянских и неславянских языков, результаты которых проявляются на отдельных языковых уровнях, – прежде всего на лексическом (Г.К. Венедиктов, М.И. Ермакова, Г.П. Клепикова, Г.П. Нецименко, Е.И. Якушкина), но также и на грамматическом (Е.И. Демина, Ф.Р. Минлос). Ряд публикаций освещает вопросы взаимодействия различных форм одного языка, например, русского литературного языка и русских диалектов (А.Ф. Журавлев, Л.Э. Калнынь), исследует роль различных тенденций в истории одного из славянских письменных языков – церковнославянского (Ф.Б. Людоговский).

* В рамках общего научного направления «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте» (№ 10002-252/ОИФН-01/242-239/110703 –1047).

ИЗ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО НАСЛЕДИЯ В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (*Истина и Правда*)

Вопрос о роли старославянской стихии в формировании русского литературного языка сегодня, кажется, из разряда дискуссионных перешел в разряд очевидных. И старославянский язык оценивается современной наукой как моделирующий фактор русской культуры, сыгравший важную роль в ее духовном становлении.

Язык культуры Средневековья, ее ценностные императивы оказались во многом созвучны русской культуре, являясь ее своеобразным “молчаливым наследием”. На это в свое время обратил внимание о. П.А. Флоренский, назвавший Кирилла и Мефодия духовными отцами русской культуры. Говоря о взаимодействии русской культуры с культурой древней Эллады, он писал в статье “Троице-Сергиева лавра и Россия”: “Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем, бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры”. Именно поэтому вопрос о роли старославянского языка в этнокультурной системе русского языка, его влиянии на формирование системы ценностей русского народа является сегодня чрезвычайно важным, особенно в связи с развернувшимися лингвокультурологическими исследованиями, поисками христианских первооснов отечественной культуры. К сожалению, пока он не привлекал серьезного внимания ученых, интерес которых был сосредоточен в основном на определении процентного содержания старославянизмов в лексической системе литературного языка, на выявлении их фонетических, словообразовательных и грамматических признаков, а также на характеристике их роли в стилистической дифференциации русской лексики. Что касается диалектов, то эта проблема практически не разработана, поскольку долгое время было довольно устойчивым представление о полном отсутствии влияния старославянского языка на язык традиционной духовной культуры.

Между тем вся история становления русского литературного языка рассматривается с позиций противопоставления двух традиций – народной и церковнославянской, взаимодействие которых имело довольно продолжительный и интенсивный характер.

В связи с этим встает вопрос, как глубоко было усвоено лексическое кирилло-мефодиевское наследие языком русской элитарной и традиционной

культуры? ЧТО из христианской этики было усвоено русской культурой и получило отражение в ее языке, КАК в языке культуры нового времени живет старое, связанное с вековыми духовными и нравственными традициями христианства?

Следует сразу сказать, что ответ на этот вопрос не лежит на поверхности, он скрывается в глубинных основах концептосферы национального языка, однако ключ к нему дает исследователю сам язык, поскольку установки культуры, составляющие основу ценностных ориентиров жизненной философии ее носителей, становятся достоянием культурного сообщества благодаря их означиванию. Именно язык позволяет обнаружить связь с мифологическими пластами культуры того или иного народа, с его религиозным опытом, рефлексией эстетического и научного познания мира.

При осмыслении этого вопроса, как представляется, следует исходить из идеи преемственности культуры, поскольку сущность любой культуры заключается в том, что «прошлое в ней, в отличие от естественного течения времени, не «уходит в прошлое», т.е. не исчезает. Фиксируясь в памяти культуры, оно получает постоянное ...бытие. Живая культура ... не может не содержать в себе ПАМЯТИ о прошлом. Память же культуры ... строится как определенный механизм порождения» (Успенский 1994: 245). Думается, что средневековая культура, отразившаяся в лексике старославянского языка, в том или ином виде вошла в плоть и кровь русского языка, поэтому в языке русской культуры должны были сохраниться представления предшествующих эпох. И хотя эти представления могут быть несколько ослаблены и даже отодвинуты на второй план, однако все равно они остаются достаточно ощутимыми и сегодня.

В условиях сохранения культурно-исторической, религиозной, этнической непрерывности в русской культуре шел процесс передачи из поколения в поколение значительных ресурсов лексики, фразеологии, словообразовательных средств. При этом, усваивая старославянскую лексику, русский язык несомненно адаптировал и ментальные особенности этого сакрального языка, отличавшегося повышенным вниманием к слову.

В связи с этим мы предполагаем обратиться к изучению некоторых базовых концептов русской культуры (таких, например, как ИСТИНА, ДОБРО, КРАСОТА), во многом определивших особый путь русской духовности, с целью выявления специфики их осмысления в старославянском и древнерусском языках, а также в современном русском языке и его диалектах.

Прежде всего несколько методологических замечаний.

При рассмотрении любых концептов следует учитывать тот факт, что в каждом языке существует невидимый культурный фильтр, который влияет на то, как мы воспринимаем и оцениваем предметы и явления внешнего

мира. Этот культурный фильтр оказывает влияние не только на восприятие вещей, но и на их интерпретацию и осмысление, что особенно хорошо видно при анализе внутренней формы слова, ведь в основе ее лежит интерпретация субъектом действительности, а любая интерпретация есть результат культурной рефлексии. Именно поэтому слово представляет собой культурное творение, которое нельзя объяснить не обращаясь к истории народа, его традициям и религии. Слово формировало социальный и сакральный опыт человека, давало возможность постигать и объяснять окружающий мир.

«Глубина залегания» этой культурной семантики разная. Иногда она «лежит на поверхности», поскольку легко обнаруживается в самой внутренней форме слова (ср. *праведник*), иногда же она находится в глубине и обнаруживается при изучении денотативной соотношенности имени, при погружении в этнокультурный контекст (ср., например, интерпретацию прилагательного *безобразный* как без Образа и Подобия Божьего), но чаще всего она прочитывается лишь при условии знаний регулятивных принципов семантической организации всего лексикона языка, когда во внимание принимается не одно слово, а весь массив слов, в котором и проявляется языкотворческая позиция человека, его ориентация в мире духовных сущностей, т.е. для обнаружения этой культурной семантики требуется концептуальная интерпретация имени, позволяющая ответить на вопрос КАК и ПОЧЕМУ оно возникло в языке (ср., например, такие слова, как *совесть*, *стыд*, *убожество* и др.).

Выявлению этой культурной семантики способствует сохраняющиеся еще в русском языке смысловые оппозиции типа *правда ~ истина*, *знать ~ ведать*, *добро ~ зло*, однако чаще всего эти оппозиции уже разрушены временем и процессом секуляризации нашей культуры, поэтому выявить эти сокрытые смыслы позволяет изучение «грамматики» культуры, правил регулирующих сочетаемость слов и морфем и определяющих их семантику.

Действие этих правил предопределяется смысловыми константами культуры, состоящей из концептов, интерпретационных схем, которые приводятся в движение языкотворческим процессом.

Понять механизм этого процесса возможно лишь исследуя глубинную семантику слова путем его концептуального анализа, поисков «следов культурной практики», корней того «коллективного бессознательного», которое лежит в основе архетипа языка любой культуры.

Проиллюстрируем эту мысль на примере концептов Истина и Правда в их осмыслении старославянским, древнерусским и современным русским языком и его диалектами.

Понятие Истины в языке русской культуры было во многом определено его концептуализацией в старославянском языке, где оно предстает как категория религиозная и этическая.

Истина как религиозное понятие – это «Истина откровения», даваемая религиозной верой и касающаяся Бога и Царства Божия. С нею были связаны определенные жизненные принципы, правила, находящиеся в полном соответствии с «истым», а это значит – божественным, ибо человек Средневековья несомненно знал слова Христа: *азъ есмь пжть ѿ истина ѿ животъ* СС, 104; ср. также истина ‘правила монашеской жизни’ СС, 271. На эту соотношенность истины с Богом указывает и внутренняя форма этого слова (*jъstь ‘тот самый, именно тот’ + суффикс -in-a (ЭССЯ 8: 246). еще раз подчеркивающий идею единичности и неповторимости ‘того самого’).

Соотношенность истины с Божественным освещает жизненный путь человека «светом истины», приобщая его к истинному знанию (ср. *свѣтъ* перен. ‘свет истины’ СС, 596: *вѣкъ свѣтъ истинны ѿже просвѣщаетъ всѣкого чловѣка* СС, 271).

Истина как этическое понятие в языковом сознании средневекового человека – это прежде всего Правда (ср. истина ‘правда, истина’ СС, 271; *правьда* ‘истина, правда’ СС, 496), а это значит, что она имеет отношение ко всему правильному (ср. *правьднъ* ‘истинный, правильный’ СС, 497), и, следовательно, справедливому (ср. *истиннъ* ‘справедливый’ СС, 271; *правьднъ* ‘справедливый’ СС, 497), тем самым сакральное переводилось в мир профанного, в мир этических норм и правил поведения человека. Об этом говорит сама внутренняя форма имени *правьда*, отсылающая нас к дольному миру, к идее пространства (*ргав-), которое уже в старославянском языке осмыслялось в категориях этики (ср. *правъ* 1) ‘прямой, ровный’; 2) ‘справедливый’ СС, 496).

Таким образом, в старославянском языке смысловое пространство Истины пересекалось с Правдой, хотя в целом и не перекрывало его, ибо Истина – это Бог, Правда, справедливость и свет (resp. познания, разума). Правда же была обращена прежде всего к человеческой жизни, установлению в ней справедливости (ср. *правьда* 1) ‘справедливость’; 2) ‘установление, принцип’ СС, 496), т.е. она была нагружена в основном этическими смыслами, ибо *правьднъ* – это не только ‘справедливый’, но и ‘надлежащий, правильный’, а потому и ‘истинный’ СС, 497. Вмещающая в себя идею нравственности, она апеллировала не только к совести человека, но и к чувству (ср. *правьдо* ‘правдиво, искренне’ СС, 497), являясь выражением его моральной силы.

В древнерусском языке сохраняется религиозно-этическое осмысление Истины, вместе с тем наблюдается дальнейшая детализация и конкретизация этого понятия, ибо оно «прирастает» новыми словами и новыми смыслами.

Развитие ментального поля Истины происходит прежде всего за счет втягивания в него новых слов: Истина в древнерусском языке начинает осмысляться как вера (ср. вѣра 1) 'истина'; 2) 'верование, поклонение истинам, догматам' СРЯ XI-XVII 2:79). Крупнейший теоретик догматического богословия XVI в., Максим Грек определял христианскую веру как единственно возможную Истину, полнота которой – сам Христос, отсюда «любые, даже малейшие изменения в вере христианской, т.е. в истине, данной Божьими заповедями, апостольскими и священными правилами – не что иное как измена самому Богу» (Юрганов 1998: 54).

«Разработка» смыслового пространства Истины идет путем его постепенного расширения: Истина все активнее начинает вторгаться в мир человеческих отношений и определять их этику. Об этом свидетельствует появление у нее таких значений, как 'верность', 'правдивость', 'справедливость' (ср. истина 'то, что верно, справедливо' СДЯ XI-XIV IV: 171; истина 1) 'правда'; 2) 'верность кому- или чему-либо'; 3) 'справедливость' СРЯ XI-XVII 6: 319; ср. также истинникъ 'тот, кто говорит правду' СРЯ XI-XVII 6: 321; истиновати 1) 'говорить правду'; 2) 'быть верным' СРЯ XI-XVII 6: 321) и даже 'искренность' (ср. истинно 'искренне, от всего сердца' СДЯ XI-XIV IV: 172; истиннѣ 'искренне, непритворно' СРЯ XI-XVII 6: 331).

Эта «гуманизация» Истины приводит к тому, что она становится атрибутом человека, который, в представлении древнерусского языка, достоин уважения (ср. истинноименный 'почтенный, достойный почестей' СРЯ XI-XVII 6: 331; истинство 'истинное достоинство, звание' СРЯ XI-XVII 6: 321).

«Укоренение» Истины в мире человека, в мире действительном и реальном (ср., например, наличие у нее таких значений, как 'подлинный', 'настоящий', 'действительный', а также 'реальность', 'действительность': истина 'то, что подлинно, то, что есть в действительности' СДЯ XI-XIV IV: 171; истинный 'действительный, настоящий' СРЯ XI-XIV IV: 173; истинный 'действительный, настоящий, подлинный' СРЯ XI-XVII 6: 319; истинность 'реальность, действительность' СРЯ XI-XVII 6: 321) свидетельствует о том, что Истина понималась средневековым человеком как подлинная, настоящая суть вещей. Это, по-видимому, и создало предпосылки для развития у нее значений, относящихся к сугубо практической, экономической сфере жизнедеятельности человека (ср. истина 'основной капитал, подлин-

ное имущество' СДЯ XI-XIV IV: 171; истина 1) 'действительное положение дел'; 2) 'подлинное, действительное количество товара, денег' // 'стоимость чего-либо' СРЯ XI-XVII 6: 319).¹ Позднее, в «Арифметике» Л. Магницкого (1703 г.) появится и первый намек на возможность познания Истины (ср. истинствоватися 'быть познанным' СРЯ XI-XVII 6: 321).

«Гуманизация» Истины приводит, таким образом, к смысловому приращению этого понятия: постепенно она все больше нагружается социальными и эпистемическими смыслами, превращаясь из «Истины сокрытой» в «Истину разума».

Что касается Правды, то ее смысловое пространство также существенно расширяется по сравнению со старославянским языком, ибо она постепенно закрепляется в мире правовых отношений, ассоциируясь с человеческим судом и мирскими делами (ср. такие значения слова правда в словаре древнерусского языка XI-XVII вв., как 'справедливость, отсутствие вины, свод законов, правил, договор, условие договора, присяга, клятва, права, признание прав, право суда, суд, судебные издержки, оправдание, свидетель, пошлина за призыв свидетеля, правосудие, закон, доказательство' (СРЯ XI-XVII 18: 96), ср. также правдати 'свидетельствовать' СРЯ XI-XVII 18: 99; праведный в знач. сущ. 'суд, тяжба, судебное дело' СРЯ XI-XVII 18: 103; праведство 1) 'право'; 2) правовой статус СРЯ XI-XVII 18: 104; праведнослововати 'оправдываться, защищать свои права' СРЯ XI-XVII 18: 103; праведчикъ 'судебный исполнитель' СРЯ XI-XVII 18: 104 и др.).

Вместе с тем Правда не утрачивает и своей соотнесенности с миром этики, поскольку этика и уголовное право в древнерусском языке были долгое время не разделены. Более того, в дериватах с корнем правд- настойчиво подчеркивается мотив справедливости, честности в поступках и межличностных отношениях (ср. правда 1) 'справедливость'; 2) 'правдивость, честность' СРЯ XI-XVII 18: 96; правдиво 'честно' СРЯ XI-XVII 18: 99; праведливость 'справедливость' СРЯ XI-XVII 18: 102).

Правдой определяется не только то, что благопристойно, прилично в обществе (ср. праведно 'прилично, пристойно' СРЯ XI-XVII 18: 102), но и то, чему необходимо следовать в жизни (ср. правдотворение 'соблюдение правды, справедливости в поступках' СРЯ XI-XVII 18: 101; праведно в сост. сказ. 'следует, необходимо' СРЯ XI-XVII 18: 102). И этот высокий статус Правды поддерживается ее сакрализованностью, связью с миром божественного, а потому праведного (ср. правда 'справедливость как свой-

¹ Ср. в связи с этим развитие значений у слова *истец*, этимологически связанного с *истым*: «старшее значение 'истый человек', 'настоящий' > 'стоящий', 'состоятельный', 'владелец движимости' > 'заимодавец'» Черных I: 360.

ство божественной сущности»; по *вожъей правде* 'справедливо' СРЯ XI-XVII 18: 96; *правдиво* 'благочестиво' СРЯ XI-XVII 18: 99; *правдивствие* 'праведность' СРЯ XI-XVII 18: 99; *правдоудѣяние* 'благочестивое дело' СРЯ XI-XVII 18: 100; *праведно* 'благочестиво' СРЯ XI-XVII 18: 102).

Таким образом, Правда в древнерусском языке приобретает довольно широкую «сферу компетенции, поскольку ею определялись едва ли не все деяния человека: Правду можно было дать, т.е. отнестись справедливо, либо принести клятву; Правду можно было взять, например, в суде, если бросают жребий, надеясь на волю Божию; Правду можно было затерять, утратив представление о добре и зле; ее можно было иметь, относясь справедливо, и погубить – собственной виной; человек мог жить по правде, потому что она – Божьи заповеди и церковные правила; и мог судиться по ней, потому что Правда – суд, а также судебные испытания и даже пошлина за призыв в суд свидетеля» (Юрганов 1998: 44).

Правда в древнерусском языке становится мерой оценки подлинности, истинности и разумности, а потому и правильности (ср. *правда* 'правда, истина' СРЯ XI-XVII 18: 96; *правдивый* 1) 'верный, правильный'; 2) 'настоящий, подлинный' СРЯ XI-XVII 18: 99; *праведно* 'истинно, разумно, правильно' СРЯ XI-XVII 18: 102), т.е. она превращается в категорию аксиологии.

Интересно, что атрибутом Правды в древнерусском языке является Истина, о чем свидетельствуют древнерусские тексты (см., например, Закон судный людям или Мерило Праведное), в которых различаются понятия «Правда Истинная» ('Истинная Правда Христос есть, – говорит Иван Пересветов, – сияет на все небесные высоты и на земные широты и на преисподняя глубины'), «Правда Божия» и «всякая правда»: «Правду Истинную», Слово Божие следует исполнять (воплощать в дела), и само это исполнение – тоже правда («всякая правда»), а «Божия Правда» отождествляется с христианской верой, которой противопоставляются «требы и присяги поганьски» (Юрганов 1998: 49).

При этом древнерусский язык настойчиво призывает человека «любить правду» (ср. *правдолюбство* 'любовь к правде' СРЯ XI-XVII 18: 101), «жить по правде», а значит поступать по справедливости (ср. *правдоудѣйствовати* 'поступать по справедливости' СРЯ XI-XVII 18: 100; *правдотворение* 'соблюдение правды, справедливости в поступках' СРЯ XI-XVII 18: 101), говорить всегда правду (ср. *правдословитися* 'говорить правду' СРЯ XI-XVII 18: 101), совершать добрые, благочестивые дела (ср. *правдоудѣльство* 'добрые, благочестивые дела' СРЯ XI-XVII 18: 100; *правдоудѣяние* 'благочестивое дело' СРЯ XI-XVII 18: 100), т.е. Правда становится социальным императивом, формирующим человека.

Таким образом, древнерусский язык не просто воспринял религиозное и этическое осмысление Истины в старославянском языке, но и по-своему его развил, разделив глубинные смыслы Правды и Истины: если Истина соотносилась прежде всего с миром сакрального, божественного и тем самым оказывала влияние на формирование этических сущностей «долнго» мира, то Правду древнерусский язык рассматривал прежде всего в отношении к человеку, о чем красноречиво свидетельствует сочетание в ней нравственных и социальных смыслов, что делало эту категорию земной, которая, однако, соответствовала высшим понятиям идеального бытия, связывавшим человека с Богом.

Секуляризация русской культуры не могла не оказать влияния на осмысление Истины, что отразилось на разработке этого понятия современным русским литературным языком. Несмотря на то, что он многое воспринял от старославянского и древнерусского языков, однако, как показывает материал, немало и утратил, что вызвало сужение семантического пространства не только Истины, но и Правды.

Отделение культуры от веры сделало неактуальными такие мотивы в осмыслении Истины, как *вера, вероисповедание, поклонение истинам, догматам*. В понимании современного русского литературного языка Истина – это 1) 'то, что соответствует действительности, действительное положение вещей, правда' // 'подлинность, правдивость' // 'нравственный идеал, справедливость, добро'; 2) филос. 'достоверное знание, правильно отражающее реальную действительность в сознании людей'; 3) 'положение, утверждение, суждение, установленное наукой, проверенное практикой, опытом' СРЯ I: 952); в этом определении, данном Академическим словарем, утрачен религиозный аспект осмысления Истины, а в связи с этим и ее персонифицированное представление, что говорит о том, что Истина превратилось в категорию сугубо эпистемическую. На ее былую связь с религиозной сферой указывают прежде всего библейские истины, а также синтагматика этого имени (ср., например, традиционный ряд русской культуры – *Истина, Добро, Красота* или выражения *наставить на путь истины*, где и Путь и Истина являются символами Христа, *принести жертву на алтарь истины*) и просторечное значение вводного слова *истинно* 'действительно, верно'.

Утрата религиозного компонента в семантической структуре лексемы *истина* привела к тому, что с течением времени оказались выветрены и этические смыслы Истины, в частности, такие, как 'верность', 'справедливость', в связи с чем это понятийное пространство было занято Правдой.

Значительно сузилось и словообразовательное гнездо Истины (в современном русском литературном языке оно формируется прилагательным,

наречием и именем качества – *истинный, истинно, истинность*, – в которых содержится указание на соотнесенность с истиной), вследствие чего она утратила свою былую словообразовательную потенцию, и лексико-понятийная парадигма имен с этим значением стала беднее.

Существенным изменениям подверглось и осмысление Правды. Хотя литературным языком Правда по-прежнему трактуется как этическая, регулятивная категория, однако ее соотнесенность с правом уже полностью утрачена, на ее былую связь с юридической сферой указывает лишь значение с пометой ист. 'название средневековых сводов законов: Русская Правда' (ср. *правда* 1) 'то, что соответствует действительности, истина' // 'то, что представляется кому-л. правдивым, верным с точки зрения морали'; 2) 'правдивость, правильность'; 3) 'справедливость, порядок, основанный на справедливости'; 4) ист. 'название средневековых сводов законов: Русская Правда' СРЯ III: 481).

Более того, «несмотря на живое присутствие однокоренных слов круга права и на прямую оппозицию в паре *о-правд-ание* ~ *о-сужд-ение*, Правда не только утратила значение закона, но даже ассоциацию с понятиями, относящимися к праву. Это показали письменные опросы. Поле правды заполняется такими словами, как *ложь, неправда, кривда, жизнь, известие, откровенность, искренность, чистота, честность, прямота, горькая, высшая, святая* и т.п. Прямые вопросы о возможности смысловых пересечений между полями правды, с одной стороны, и закона и суда – с другой, получали отрицательный ответ даже от филологов» (Арутюнова 1999:565). Так моральное пространство Правды в истории русского языка стало шире правового.

Выветривание смыслов, относящихся к сфере правовых отношений, в концепте Правда можно, как представляется, связать и с традиционным противопоставлением в русском обществе законов и моральных норм, авторитет которых, как правило, выше закона.² Именно этим объясняется негативное отношение человека к государству, находящемуся в постоянном конфликте с народом, а потому воспринимаемому как источник зла (см. Лурье 1994: 125). «В системе русской ментальности один из важнейших способов действия, ведущий к победе добра над злом, – не закон, устанав-

² Ср. в связи с этим высказывание известного русского правоведа и философа Е.Н. Трубецкого, которое сохраняет свою актуальность и сегодня: «Право как целое должно служить нравственным целям. Но это – требование идеала, которому действительность далеко не всегда соответствует, а нередко и прямо противоречит» (Трубецкой 1998: 36).

ливаемый «врагом»-государством, а милосердие. Отражением этого является и отмеченное Ю.М. Лотманом устойчивое стремление русской литературы увидеть в законе сухое и бесчеловечное начало в противоположность таким неформальным понятиям, как милость, жертва, любовь» (Стефаненко 2003: 148).³

Другой, не менее важной причиной разрыва смысловых связей между Правдой и социальным правом (судом) является, по мнению Н.Д. Арутюновой, фактор оценки: «Правда может быть святой, человеческий суд – никогда. Мирской суд ассоциируется со страхом, расправой, пыткой, несправедливостью... Правда в аксиологическом плане ассоциируется со светом, солнцем, сиянием, святостью, Царствием Божиим, идеалом, подлинностью, высшей справедливостью, милосердием, милостью Божией. Все эти ассоциации относятся только к Божиюму суду – *правде Божией* и восходят к библейским текстам. Таким образом, утрата именем *правда* первичного значения 'закон' и отчуждение ассоциаций с правом произошли под прямым воздействием религиозных концепций, противопоставляющих высшую справедливость людскому беззаконию. Правда стала мыслиться как некий идеал праведности и совершенства» (Арутюнова Там же).

Так с течением времени Правда утратила соотнесенность с законом и правом и стала одним из символов этических ценностей русской культуры.

Как идеал и нравственная ценность Правда снискала любовь русского народа (ср. *правдолюб, правдолюбец, правдолюбивый, правдолюбие*), она стала восприниматься как нечто самое близкое, дорогое, сродни родной матери (ср. *правда-матушка*). Это ценностное осмысление Правды усиливалось еще и потому, что человек ощущал ее отсутствие в реальной жизни, и в этом смысле русский язык выносил приговор земной действительности как «неправедной» (ср. русскую поговорку: *Правда прежде нас померла* Даль III: 273). Не случайно «в народных утопиях, начиная с древних времен и по XIX в. включительно, мы встречаемся с представлениями об "островах блаженных", разных "далеких землях", где царит Правда» (Клибанов 1996: 75). Отсюда стремление человека отыскать Правду и как следствие этого мотив *правдоискательства* в русской культуре, в которой всякий *правдоискатель* воспринимается как человек *праведный*.

Несмотря на то, что литературный язык говорит о том, что в жизни правды нет, существует лишь некое подобие правды (ср. *правдоподобный, прав-*

³ Яркой иллюстрацией этой мысли может служить один из эпизодов «Капитанской дочки»: На предположение Екатерины II, что Маша Миронова приехала жаловаться на несправедливость, Маша дает неожиданный для читателя ответ: «Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия» (Пушкин т.4:356).

доподобие, полуправда), русский человек взывает именно Правду, а не Истину. Не находя ее на земле, человек уповает на небеса, отсюда народные сентенции: «Правда у Бога, а кривда на земле», «Истина от земли, а правда с небеси», «Господь оправданье мое, Его закон и правда» (поэтому «церковный закон, заповеди и названы оправданьем» – Даль II: 683)⁴.

Синтагматика обоих имен говорит о том, что «в современном русском употреблении... о Божественном мире и его аналогах говорят в терминах истины. Это же слово используется в эпистемических контекстах. Ему отдается предпочтение и тогда, когда речь идет о человечестве, его идеалах и конечных целях, между тем как проекция Божественного мира на жизнь и речевую деятельность людей обозначается словом *правда*. Правда – это отраженная Истина, истина в зеркале жизни, преломившаяся в бесконечных его гранях» (Арутюнова 1999: 551).

Таким образом, в языке элитарной культуры различаются два рода Истин: «Истина откровения», это Истина сокрытая, она связана с миром сакрального и касается Бога и Царства Божия, и «Истина разума», она открывается с помощью философии и науки и относится к природе, к земному, чувственному миру человека. Истина же, «укорененная» в реальной жизни человека, в его нравственных императивах, – это Правда.

Такова ситуация в литературном языке. А как откликнулся на эти этические и религиозные тонкости язык традиционной духовной культуры?

Прежде всего следует отметить, что в русских диалектах по-прежнему сохраняется христианская дихотомия Истины и Правды, хотя нельзя не признать, что и здесь смысловое пространство Правды значительно шире ментального поля Истины. Более того, понятие Истины в языке русской традиционной культуры оказалась вытесненным на периферию Правдой. Об этом говорит тот факт, что лексико-семантическая парадигма Истины является практически «не проработанной» в русских диалектах: сама лек-

⁴ Следует отметить, что эта мысль присутствовала и в древнерусских текстах. Так, например, главный герой «Большой челобитной» молдавский воевода Петр спрашивает своего слугу, москвитя Ваську Мерцалова: «Таковое царство великое, и сильное, и славное, и всем богатое, царство Московское, есть ли в том царстве правда?» И Васька отвечает: «Вера, государь, христианская добра, всем сполна, и красота церковная велика, а правды нет». Услышав это, Петр заплакал: «Жоли правды нет, то и всего нет. Истинная правда Христос Есть... – сказал он. – И в котором царстве правда, в том и Бог пребывает и помощь свою великую подает, и гнев Божий не воздвигается на то царство. Правды сильнее в божественном писании нет. Правда Богу и Отцу сердечная радость...» (Юрганов 1998: 78).

сема истина обладает очень небольшим словообразовательным гнездом (имеющиеся дериваты являются производными преимущественно от корня *ист-* или основы *истов-*, а не *истин-*), смысловой потенциал которого довольно ограничен. Сакральная сущность Истины обнаруживает себя лишь слабым мерцанием в слове *истинник* 1) «набожный человек» Ксмср.; 2) «справедливое решение» Яросл. (СРНГ 12: 255)⁵.

В языковом сознании русского народа Истина превратилась в видовое понятие Правды. Об этом косвенно свидетельствует внутренняя форма лексемы *истина*, а именно ее соотношенность с «истым», в конфигурации значений которого наряду с семами «верный», «настоящий» (ср. *истовой* «настоящий, истинный» Печор., СРНГ 1:295), представлена и сема «правдивый» (ср. *истый* «верный, обязательный, точный в слове, правдивый» Твер., СРНГ 12: 266; *истовый* 1) «правильный, верный»: *истовый вес* Вят.: 2) «правдивый»: *Истовый человек* Влад., Пск., Твер., СРНГ 12: 257), тогда как в семантической структуре дериватов с корнем *правд-* сема «истинный» не повторяется (ср. *правдешный* «настоящий, действительный» Вят., Свердл., Барнаул., Сиб., Костром., Ворон., СРНГ 31:51; *правдовый* «настоящий» Арх., СРНГ 31:51). И в литературном языке *правдивый* – это 1) «любящий правду, склонный говорить правду»; 2) «содержащий в себе правду, основанный на правде» СРЯ III :481. Об этом же говорит и синтагматика обоих имен, в частности тот факт, что именно Правда атрибутируется Истиной (ср. *истинная правда*), а не наоборот.

Как категория этики Правда в языке русской традиционной культуры стоит выше Истины, о чем свидетельствуют слова *праведник* и *праведный*, указывающие на то, что святость достигается не Истиной, а Правдой, сопряженной с добрыми делами и справедливостью (не случайно именно Правда, а не Истина называется *святой* или *божьей*, а *по правде* для русского человека – это *по-божьему* Курск., Яросл., Ворон., СРНГ 27: 199).

Вместе с тем диалектный материал говорит о том, что в языковом сознании русского народа Истина как христианская ценность не умерла, что подтверждают такие лексемы как *слово* «истина, премудрость» Даль IV: 222;

⁵ В связи с этим заслуживает внимания интересное исследование С.Е. Никитиной, посвященное бытованию представлений об Истине в русских конфессиональных культурах, в котором она отмечает, что «слово *истина* в старообрядческих текстах духовных стихов встречается крайне редко, только в паре *правда-истина*, а единственное производное слово – прилагательное *истинный* – встречается в сочетаниях *Христос-Бог истинный, правда истинная и вера истинная, христианская*... В старообрядческих текстах концепт *истина* представлен словом *правда*» (Никитина 2003: 647, 653).

свет 'истина' Даль IV: 156; а также лексемы со значением 'истинно, действительно': *взаль* Пск., Север.; *взболь* Ряз., Твер., Смол., Пск., Арх., Волог., Новг., Олон., Яросл., Перм., Ср. Урал, Том., Енис., Иркут., Якут., Амур; *взбыль* Твер., Ряз., Пск., Петерб., Новг., Яросл., Печор., Олон., Север., Арх., Перм., Сиб., Иркут., Якут.; СРНГ 4: 230-232). Нельзя, однако, не признать, что связь Истины с верой, существовавшая в древнерусском языке, в языке традиционной культуры уже утрачена, ср. *вера* 1) 'желание, намерение' Арх., Олон., Север., Сев.-Двин., Волог.; 2) 'понятие, умение'; 3) 'обычный традиционный порядок' Сиб., Иркут., Якут., Тобол., Перм., Казан., Костром., Волог., Беломор., Смол. // 'поверье, примета, передаваемая из поколение в поколение' Арх. СРНГ 4: 119). На их былую соотнесенность указывает лишь прилагательное *неверный*, являющееся синонимом ложного или *не-истинного*, часто по отношению к вере (ср. *неверная вера* или *сила неверная* 'люди, чужой религии'; *неверная земля* 'страна, где господствующей является нехристианская религия' СРНГ 20:332).

Что касается Правды, то в ее интерпретации языком русской традиционной культуры прослеживается целая этическая философия, связанная с осмыслением жизни человека, ее нравственных ценностей.

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что Правдой определяется не только земная жизнь человека, но и окружающий его мир: хотя этих имен довольно немного, однако их объединяет яркая отличительная особенность – все они относятся к солнцу (ср. *правденное* сущ. 'солнце' Волог., СРНГ 31: 52; *праведеннышко* Волог.; *праведимо* Беломор., *праведно* Олон. 'солнце' СРНГ 31: 52). Эти имена говорят о том, что Правда в языковом сознании русского народа является символом света, своеобразной метафорой солнца, которое как символ небесной духовности в старославянском языке входило в число сущностных атрибутов Бога (ср. *слъньце перен. 'Иисус Христос': слъньце праведное христось вогъ нашъ* СС. 615). Об этой божественной сущности правды свидетельствуют и дериваты *побожьему* 'по правде' Курск., Яросл., Ворон., СРНГ 27: 199; *отбаживаться* 'оправдаться, побожившись в невинности' Даль II: 709).

Однако в целом Правда в тексте русской традиционной культуры полностью обращена к миру человека, к тем событиям, которые имеют или имели место в его жизни (ср. *быльица* 'правда' Олон., СРНГ 3: 345; *быльщина* 'правда, то, что было в действительности' Влад., СРНГ 3: 347; *збыль* 'правда' Сев., Сиб., Даль I: 556).

Главным "субъектом" языка Правды является сам человек, поэтому в диалектах так много антропоморфных номинаций с корнем *правд-*, в которых дается этическая оценка человека (ср. *правдак* 'справедливый человек' Костром., СРНГ 31: 50; *правдик* Вост.-Казан.; *правдок* Костром. 'правдолю-

бивый человек' СРНГ 31: 50; *правдуха* 'справедливый человек' Яросл. // 'правдолюбивый человек' Яросл., СРНГ 31: 51). Во всех этих номинациях Правда выступает как атрибутивная, нормативно-оценочная категория, с помощью которой определяются нравственные качества человека.

В отличие от языка элитарной культуры, в традиционной духовной культуре Правда осмысливается как некая экзистенциальная сущность, она есть (ср. *жилая правда* 'правда, испытанная жизнью' Смол., СРНГ 9: 176), более того с ней связана вся жизнь человека как существа биологического и социального (ср. *правдать* 'выращивать, кормить': *Чем тогда ребятишек правдать* Дон., Курск. // 'лечить, ухаживать' Сталингр., СРНГ 31: 50; *правдить* 'кормить' Ряз., СРНГ 31: 51; *оправдывать* 'давать средства к жизни, содержать кого-либо': *Ему трудно всех оправдать, семья-то большая, одной обуви покупать сколько надо* Калуж., Моск., Ряз., Ворон., Курск., Ленингр., Арх., СРНГ 23: 290; *оправдаться* 'кормиться, питаться' Моск., Калуж., Ряз., Иркут., СРНГ 23: 290). Вместе с тем русский народ понимает, что Правдой сыт не будешь (ср. *правдаться* 'перебиваться кое-как, едва сводить концы с концами' Ростов., СРНГ 31: 51; *прооправдаться* 'перебиваться кое-как' *Тут хоть в лесу прооправдаешься, то грибочками, то в степь пойдем* Ряз., СРНГ 32: 198; ср. также русские пословицы: *Правда в лаптях, а кривда, хоть и в кривых, да в сапогах; Правда ходит по миру Христа ради* – Даль III: 273) и др.

И несмотря на это действия и поступки человека в обществе (в том числе и его речевое поведение) определяются именно Правдой (ср. *в правде состоять* 'делать что-либо честно, справедливо' Костром.; или *на правду сказать* 'сказать честно, правдиво' Том., СРНГ 31: 50). Не случайно Правда работает даже в коммуникативном регистре, ср. приглашение к столу в олонечских говорах: *правдайтесь, любящие гости* СРНГ 31: 51.

Глаголы с корнем *правд-* характеризуют чаще всего социальные действия человека (ср. *правдать* 'управлять честно, по справедливости' Ворон., СРНГ 31: 50; *правдеть* 'править' Перм., СРНГ 31: 51; *правдить* 1) 'действовать правильно, по справедливости': *Бог велит правдить* Смол.; 2) 'управлять' Тамб., СРНГ 31: 51; *оправдать* 'справляться с чем-либо' Ворон.: *Он пчеловод, в колхозе оправдае пчел* СРНГ 23: 289; *оправдаться* 'выполнить обещание' Пск., Смол., СРНГ 23: 290). При этом можно заметить, что во многих номинациях присутствует элемент оценки (ср. *правдить* 'делать что-либо хорошо': *Я ему указал, как пахать, теперь он сам может это правдить* Тамб., СРНГ 31: 51; *в правде состоять* 'делать что-либо честно, справедливо' Костром., СРНГ 31: 50).

Социальный характер действий, связанных с Правдой, проявляется и в том, что ею определяется отношение человека к труду (ср. *неправдешный*

‘отлынивающий от работы’ Яросл., СРНГ 21: 124), а также его положение в семье, ср. *правдатель* ‘старший в доме, хозяин’ Тамб., СРНГ 31: 50; *праведники* ‘умершие родители’ Север., СРНГ 31: 52).

Эта соотнесенность Правды с реальным миром человека делает ее предметом особой любви русского народа, о чем говорит эмоциональный “модус” имен типа *правдица* Терск.; *правдонька* Смол.; *правдышка* Калуж. ласк. ‘правда’ СРНГ 31: 51-52.

Таким образом, в языке русской традиционной духовной культуры лексико-семантическая парадигма Правды «проработана» значительно шире и детальнее, чем парадигма Истины. Объективное содержание Истины в русских диалектах безотносительно к природе человека, тогда как в Правде отражены интересы субъекта, поэтому именно Правда, а не Истина становится нормативно-оценочной категорией, определяющей нравственность человека. Не случайно душевным эквивалентом Правды является совесть (ср. *В нем правды нет* ‘нет совести’ Даль III: 379). А потому Истина в языке традиционной культуры – это всего лишь атрибут, тогда как Правда – еще и предикат (ср. глаголы *правдать*, *правдить*, *правдеть*).

В отличие от языка элитарной культуры с ее мотивом *правдоискательства*, в языке традиционной духовной культуры Правда присутствует как некая экзистенциальная сущность: перед нами разворачивается своеобразное “повествование” о правде жизни. Предметом его является не только социальная жизнь человека, но и все его бытие. Это повествование о человеческих деяниях и человеческой душе, преломленное сквозь призму этической оценки. А настойчивое повторение во многих дериватах с корнем *правд-* мотива справедливости говорит о том, что нравственным императивом русской культуры является требование справедливости.

Итак, концепт Истины на всем протяжении своей истории был неразрывно связан с концептом Правды. При этом если язык «смирился» с правдоподобием, то «подобия Истине он не допускает... истина уходит в мир вечной Истины, оставляя человеку правду» (Арутюнова 1999: 632). С течением времени Правда, «отделившись от понятия истины и от понятия закона, которое было первоначально близко ей, гуманизировала их, «очеловечила», приблизила к миру жизни, отразив тем самым специфику русского менталитета и русской социальной психологии» (Арутюнова 1999: 639).

В истории осмысления Правды и Истины языком русской культуры отразился не только жизненный и социальный опыт человека, но и сакральный. И именно это обстоятельство сыграло важную роль в их разработке языком.

Из приведенного материала видно, что и современный русский литературный язык, и его диалекты в целом сохраняют христианско-нравствен-

ную ориентацию в концептуализации этих духовных сущностей, существовавшую в старославянском языке, хотя и вносят некоторые свои особенности в их осмысление. Следует отметить также тот факт, что диалектные представления об Истине и особенно Правде значительно богаче в своем лексико-семантическом наполнении и реализации высоких и абстрактных смыслов, нежели литературные. Широта семантического диапазона дериватов с корнем *правд-*, их огромный семантический потенциал красноречиво свидетельствуют о том, что глубинные основы кирилло-мефодиевского наследия были не только довольно хорошо освоены языком традиционной духовной культуры, но и, став его органической частью, сыграли важную роль в моделировании концептуальной картины мира.

Таким образом, этот небольшой материал является убедительным доказательством того, что «русская духовная культура, принимая новое, в значительной мере сохраняла старое, устанавливала формы сосуществования нового со старым, наслаивая одно на другое» (Толстой 1999, III: 37). И в этом проявилась «системная» память культуры.

ЛИТЕРАТУРА

- Арутюнова 1999 – Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1999.
- Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978-1980.
- Клибанов 1996 Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси 1996.
- Лурье 1997 – Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997.
- Никитина 2003 – Никитина С.Е. Представление об *истине* в русских конфессиональных культурах // Логический анализ языка. Избранное. М., 2003.
- Пушкин А.С. – Пушкин А.С. Сочинения в 6 т. М., 1949-1950.
- СДЯ XI-XIV вв. – Словарь древнерусского языка XI-XIV вв. Т I-VI. М., 1988.
- СРГШП – Словарь русских говоров низовой Печоры. СПб, 2003. Т. 1.
- СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л. (СПб.), 1965-2001. Вып. 1-35.
- СРЯ XI-XVII вв. – Словарь русского языка XI-XVII вв. Т. 1-25., М., 1975-СРЯ – Словарь русского языка. Т. I-IV. М., М., 1957-1961.
- СС – Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) // Под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки, Э. Благовой. М., 1994.
- Стефаненко 2003 – Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2003.

Голстой 1999 – Толстой Н.И. Неравномерность развития звеньев языковой и мифологической системы в этнолингвистическом аспекте // Избранные труды. Т. Ш. М., 1999.

Трубецкой 1998 – Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб., 1998.

Успенский 1994 – Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры // Успенский Избранные труды. Т. I. М., 1994

Черных – Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I-II., М., 1994.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Т.1-30., М., 1974-

Юрганов 1998 – Юрганов А.Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998).

Г.К. Венедиктов

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД РАННИМ РУССКИМ ВЛИЯНИЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ БОЛГАРСКОЙ КАНЦЕЛЯРСКО- АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ

В литературе, посвященной влиянию русского языка на формирование делового стиля современного болгарского литературного языка, до недавнего времени упускалась из виду небольшая по объему “Инструкция об обязанностях сельских приказов”. издания в 1821 г. в Кишиневе с параллельным текстом на русском и болгарском языках. Эта “Инструкция” была составлена, надо полагать, по распоряжению главного попечителя колонистов Южного края России генерала И.Н. Инзова кем-то из служащих его канцелярии, но возможно, что в ее составлении принял непосредственное участие и сам И.Н. Инзов. Это издание важнейшего документа, определявшего организацию и управление поселений (колоний) болгар в Бессарабии, оставалось вне поля зрения исследователей по той простой причине, что они не располагали самим этим изданием. Лишь недавно было установлено, что один (возможно, это единственный сохранившийся до наших дней) экземпляр названной “Инструкции” находится в одной из библиотек Одессы.

Болгарский переводной текст “Инструкции об обязанностях сельских приказов” представляет для исследователей истории современного болгарского литературного языка большой интерес, во-первых, потому, что это текст, который лежит у самых истоков складывания его делового стиля, и, во-вторых, потому, что текст этот обнаруживает значительное влияние русского языка, и это заставляет отнести собственно влияние этого языка на болгарский к более раннему времени, нежели это обычно представляется.

Следует иметь в виду, что названная “Инструкция” – первый опыт перевода на болгарский язык русского административно-канцелярского текста, избыточного сложными оборотами и конструкциями, содержащего немалое число слов, с которыми болгарскому переводчику, наверно, впервые пришлось столкнуться. Неизвестный переводчик, судя по его тексту, не был достаточно опытным книжником. Не со всеми трудностями русского оригинала и не сформировавшего еще своих правил новоболгарского литературного языка переводчику удалось справиться. Тем больший разноаспектный интерес, как нам кажется, представляет эта “Инструкция” для исследователя начальной истории современного болгарского литературного языка.

Вопросу о влиянии русского языка на развитие современного болгарского языка в целом и его лексики в частности в существующей литературе уделяется большое внимание. При этом в ней обычно подчеркивается, что примерно до 40-х годов XIX в. его следует рассматривать параллельно с влиянием языка церковнославянского, поскольку разграничивать, дифференцировать их в отношении многих языковых фактов, особенно в лексике, не представляется возможным. Не вдаваясь в подробности этой сложной проблемы истории современного болгарского литературного языка, отметим здесь, что при анализе особенностей языка конкретных текстов, переведенных с русского языка, следует, как нам кажется, приоритет отдавать все же влиянию этого языка, а не церковнославянского, особенно тогда, когда основательное знание последнего переводчиком представляется проблематичным.

Есть, однако, такие русские тексты, перевод отдельных слов и выражений которых, как будто в принципе исключает возможное влияние церковнославянского языка. Здесь имеются в виду в частности наименования новых для переводчика реалий, которые он даже при хорошем знании церковнославянского языка почерпнуть необходимые для перевода слов и выражений русского текста из этого языка не мог. Рассмотрим здесь названия некоторых из такого рода реалий в “Инструкции”.

Это прежде всего слова, отражающие новый социально-общественный статус болгарского населения, поселившегося в разных районах Бессарабии, и местные административно-управленческие и другие учреждения с их чиновниками и канцелярскими атрибутами, с которыми сразу же столкнулись задунайские переселенцы.

В русском оригинале встречаются следующие наименования людей, отражающие их отношение к месту жительства: *жители, поселяне, пришельцы, переселенцы, колонисты*. Слово *жители* (форма ед. числа этого слова в “Инструкции” не встречается) имеет общее значение, указывающее на то, что соответствующее лицо где-то проживает, имеет место жительства, са-

ним этим словом далее не конкретизируемое. Во всех случаях употребления оно передается здесь словом *жителици* (не *жители!*): *миждѹ жителици* коитѹ са карать (5), *сичкити жителици* да са заимать (8), *жителици* бессарабски (13) и др. В современном болгарском литературном языке слово *жители* – русизм. В рассматриваемом переводе его нет, оно фиксируется в переводах более поздних (в частности у А. Кипиловского, 30-е годы XIX в.). Было ли используемое переводчиком слово *жителици* в употреблении и других болгар или же оно представляет собой собственное лексическое новообразование переводчика, сказать трудно ввиду отсутствия других материалов. Русск. *поселянин*, часто встречающееся в оригинале в болгарском переводе, почти всюду передается народным словом *селянин*, но в двух случаях оно переводится словом *поселенец*: *всакомѹ кто изъ поселянь* имѹеть какое дѣло – *сакѹи поселениць* кой какватѹ работа има (5), подтверждается *всѣмъ* и *каждомѹ* изъ *поселянь* – подтверждава са на сичкити и *секомѹ* изъ *поселеници* (12). И в одном случае русск. *поселянин* переведено необычным словом *селачан*: *выгодѹ* собственно *поселянь* – *зарадъ* вашъ си оугодъ, *зарадъ* секигѹ *селачанѹ* (18). Единжды употребленное в русском тексте слово *пришелец* в переводе передано не лексическим эквивалентом, а описательной конструкцией с относительным местоимением *детѹ* и личной формой глагола: *бѹди поаватса* изъ числа *пришелцовѹ* на время – *акѹ* са евать изъ *внизи*, *детѹ* са *дѹшле* на времи (9). Встречающееся в русском тексте слово *переселенец* в двух случаях из трех употреблено в сочетании с прилагательным *задунайский* и в обоих случаях передано словом *преселенец*: *каждатѹ* изъ *колонистѹвъ* *задѹнайскихъ* *переселенцовѹ* – *втѹ* *втѹдватъ* *дѹнайскити* *присиленици* (1), *надѹ* оуправленѹемъ *всѣми* *поселенѹами* *задѹнайскихъ* *переселенцовѹвъ* – да ги *оправа* *детѹ* са *отѹдватъ* *дѹнавски* *присиленици* (3). В одном случае в переводе слово *переселенец* опущено. Что касается слова *колонист*, то в пяти из семи случаев его употребления в русском тексте оно передано этим же словом: *каждой колонистѹ* имѹеть право – *има* право *секи колонистѹ* (10) и др., а в одном – в словосочетании *права колонистов* – переведено как *колонистка права* (1; вероятно, опечатка вместо *колонистки права*). Еще в одном случае русск. *колонист* в переводе опущено. Из приведенных здесь наименований жителей *поселенец*, *преселенец* и *колонист* в болгарском тексте являются прямыми заимствованиями из русского языка.

Другую группу наименований, взятых переводчиком из русского языка, составляют слова, обозначающие новые для болгарских переселенцев материальные реалии административно-правовой организации их жизни на землях Российской империи – неизвестные им ранее учреждения, чиновники, разного рода документы и др. В рассматриваемом тексте таких слов

довольно много. Приводим некоторые из них, как правило, без контекстных иллюстраций. Отметим прежде всего ряд слов, относящихся к приказу как административному учреждению, которому вменялись организация и управление жизнью переселенцев. Это само наименование *приказ*, которое в подавляющем числе случаев в переводе передается калькой *заповеовѹ*, но изредка переводчик оставляет его и в болгарском тексте: срв., например, в заглавии: *Инстрѹкциѹ* заради *долгата* на *Приказѹ тѹ* *селски* (1). Очевидными русизмами являются и наименования лиц, вершащих местную власть в приказах – *виборни*, *староста*, *старшина*, избираемые жителями села, а также – в данном тексте – и, наверное, слово *писарь* (*селеки писарѹ*), наряду с которым изредка встречается и болг. *писачѹ*. Русизмами в рассматриваемом тексте, почерпнутыми переводчиком из русского текста, являются, вероятно, и часто встречающиеся слова *попечитель*, *начальникѹ*, *началство*. Несомненные русизмы – *селски судѹ* “сельский суд”, *садовицинятъ* *домѹ* “судная изба”, *громада* “мирской сбор жителей села”, *канциларѹ*. Русизмами следует признать и обозначения административно-территориальных единиц *область*, *окръгѹ*, *губернѹ*. Таковы же и названия разного рода документов, которые в необходимых случаях выдавались болгарам-переселенцам – *билетѹ*, *видѹ*. Вряд ли есть основания сомневаться в том, что и слово *инстрѹкциѹ*, с которого начинается заглавие рассматриваемой брошюры, заимствовано переводчиком непосредственно из русского языка.

В болгарском тексте есть и много других слов, представляющих собой заимствования из русского языка, связанные не только с обозначением ими новых для болгар материальных реалий. Отметим здесь лишь сравнительно небольшую в тексте “Инструкции” группу слов, которые в русском языке являются иноязычными заимствованиями. В существующей литературе подчеркивается посредствующая роль русского языка в обогащении болгарского литературного языка лексикой из других языков. Надо, однако, отметить, что выявление такой лексики сопряжено с немалыми трудностями, так как, анализируя ее, часто исследователь не может судить об источниках ее знания болгарским автором оригинальных или переводных сочинений. Имея это в виду и все же рискуя впасть в ошибку, мы полагаем, что целый ряд слов, восходящих корнями к западноевропейским языкам (кроме уже упомянутых выше *канциларѹ*, *губернѹ*, *колонистѹ*, *инстрѹкциѹ*, *билетѹ*, как также по крайней мере и часть из перечисляемых ниже и других), являются прямыми заимствованиями переводчика из русского языка (русского текста “Инструкции”). Таковы в частности *экземплярѹ*, *пунктъ*, *сѹма*, *кило*, *планѹ*, *императорѹ*, *дѹкоментъ* (так!), *монархѹ*, *маіорѹ*, *рапортѹвамѹ*, *форма*, *кондрактѹ* и др. Возможно, что некоторые из данных слов впервые были употреблены в болгарском языке именно в тексте “Инструкции”, хо-

тя, как показывает опыт изучения “впервые употребленных” каким-либо книжником слов, подобные утверждения нередко оказываются ошибочными.

Переводной болгарский текст “Инструкции об обязанностях сельских приказов” как первый опыт издания на болгарском языке административно-канцелярского документа, открывающего первую страницу в истории формирования делового стиля современного болгарского литературного языка, заслуживает дальнейшего внимательного изучения. Один из его аспектов, связанных с влиянием в этом процессе русского языка, – уяснение того, как переводчик, испытав очень сильное влияние его лексики, последовательно избегает отражения в своем переводе широко представленных в оригинале некоторых грамматических особенностей русского языка, например, причастий настоящего времени на *-щий* и причастных оборотов, столь характерных для административно-канцелярских и прочих деловых текстов.

Е.И. Демина

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ И ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ КАТЕГОРИИ ОПОСРЕДОВАННОСТИ ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМА АДМИРАТИВА

К числу остро дискуссионных вопросов теории балканского и специально – болгарского языкознания, остающихся неразрешенными несмотря на ряд оригинальных разработок, смело можно отнести вопрос о грамматическом статусе и системной организации специфических грамматикализованных семантических категорий болгарского глагола (пересказывание, конклюдив, адмиратив, инверитатив), неизвестных другим славянским языкам (кроме македонского и части сербских говоров) и большинству индоевропейских языков, которые автор данного реферата, на основе присущего им семантического инварианта, объединяет в особую грамматическую категорию опосредованности (вторичности) оценки говорящим отношения сообщаемого им действия к действительности. Между собой указанные субкатегории, по нашему мнению, в оппозиционные отношения не вступают, противопоставляясь каждая как маркированный член со своим дифференциальным признаком категории непосредственной оценки говорящим отношения действия к действительности, манифестируемой формами обычных наклонений.

Такая точка зрения вызывает у исследователей данной проблематики возражения по целому ряду пунктов. Здесь мы остановимся на спорном вопросе о так называемом адмиративе, попытавшись осмыслить его на фоне

структуры названной категории в целом. Повод к дискуссии дает не столько выявление семантики данной субкатегории – значение адмиратива в целом определяется достаточно однозначно. Расхождение мнений вызывает прежде всего тот факт, что значение, которое считается “адмиративным”, морфологически выражается теми же формами (той же парадигмой), которые в болгарской грамматике принято называть “пересказывательными” (ПФ), причем последним присуще принципиально иное значение. Возникает, казалось бы неразрешимое, противоречие: как известно, одна и та же грамматическая категория (се парадигма) не может выражать противоположные, несовместимые на уровне инварианта значения. Это противоречит принятому в традиционной грамматике пониманию грамматической категории как единства формы и содержания.

Имеющиеся мнения по данному вопросу могут быть в самом общем виде сведены к следующим:

1. Адмиратив – это одно из употреблений форм старого перфекта;
2. Адмиратив наряду с пересказыванием – это одно из равноправных значений форм типа *пишел съм, пишел*;
3. Адмиратив – это употребление ПФ в транспозиции;
4. Адмиратив – это одно из частных значений субкатегории конклюдив (КФ);
5. Адмиратив – это одно из пяти самостоятельных “несвидетельских наклонений” болгарского глагола;
6. Адмиратив сближается с ПФ на семиотическом уровне;
7. Адмиратив – это особая семантическая субкатегория, выступающая как грамматический омоним по отношению к субкатегории пересказывания и входящая наряду с ней, конклюдивом и инверитативом в качестве самостоятельной грамматической единицы в состав категории более высокого ранга, основанной на инварианте “опосредованность оценки говорящим отношения действия к действительности”. Эта категория может быть определена как одна из форм манифестации выдвинутой Р. Якобсоном категории Evidentiality.

Г. Вайганд (1925) впервые обративший внимание на наличие адмиратива в болгарском на основании примеров типа «Ах, то валяло!» (‘Смотри-ка, дождь!’), ‘Оказывается, дождь идет!’) сравнивает это явление с известным употреблением адмиратива в албанском как особой модальной формы, которая выражает изумление, вызванное неизвестным ранее событием. При этом в албанском вместо формы презенса употребляется форма перфекта с постпозицией вспомогательного глагола: *kam marr 'ich habe gekommen'*, *marr – kam 'ich ergreife plötzlich, unerwartet'*. В обоих языках в этой функции может употребляться также “das doppelt zusammengesetzte Perfekt: «Той бил

се твёрде много изменил!». Вайганд объясняет сходство между сравниваемыми языками исходя из учета ряда исторических и социолингвистических данных, в частности факта длительной совместной жизни, общения в течение столетий албанцев и славян в Македонии, тем, что тысячи албанцев ежегодно отправлялись на заработки в Болгарию, где они выучивали болгарский язык, привнося в него присущие им формы для выражения удивления неожиданным фактом. Будучи воспринятым и осознанным болгарами, это явление получает в их языке дальнейшее развитие на собственной основе. Таким образом, Вайганд считает появление адмиратива в болгарском результатом албано-балканославянских контактов; источником интерференции при этом выступает албанский.

Уже в ближайшее время против мнения Вайганда об албанском влиянии на появление адмиратива в болгарском выступили Ст. Романски (1926), который считал подобное расширение значения форм перфекта в принципе присущим развивающимся языкам, и В. Бешевлиев (1928), рассматривая это сходство в албанском и болгарском как случайное.

Мнение о том, что явление адмиратива связано с употреблением формы перфекта в сфере настоящего времени, долгое время разделялось учеными ряда стран. Так Св. Иванчев (1978) пишет: «В сущности, эксклазив (таким термином Иванчев обозначает адмиратив – Е.Д.) мог быть сведен к перфекту, формами которого (от глаголов сов. вида) мы констатируем нечто, случившееся в наше отсутствие. В случаях, когда мы не ожидали этого, застигнутые врасплох (“изненадани”), мы произносим эти формы с восклицательной интонацией». При этом восклицательная интонация и особенности междусловной фонетики способствуют утрате в третьем лице единственного и множественного лица вспомогательного глагола. И далее: «Так как очень часто необходимо с помощью восклицания выразить свое удивление не только происшедшими в наше отсутствие, но и протекающими в данный момент перед нашими глазами действиями, к аористному причастию добавилось и имперфектное (Я, гледай, той четял, бе!)». Так эмоциональный перфект перерос в эксклазив, формально сравнившись с пересказыванием.

Л. Андрейчин (1938, 1967) первым включает адмиратив в систему пересказывательных форм, отметив, что последние могут употребляться при обозначении неожиданных действий, выражая некое внутреннее отношение говорящего лица к действию. «Вероятно, – считает он, – мы имеем дело с первичными формами авторского высказывания, обусловленными косвенным свидетельством (с пропуском вспомогательного глагола в третьем лице). Это же мы видим при перфекте, когда им вырывается констатация».

В отличие от него, Ю.С. Маслов (1965), формально не разграничивая ПФ и адмиратив, в то же время предлагает считать адмиративную семантику одним из *равноправных* значений, присущих пересказывательным формам. Согласно его мнению, в данном случае имеет место полисемантность как многообразие грамматикализованных значений, присущих одной и той же форме. Так, пересказывательные формы типа *пишел, писал, бил писал, да пишел*, согласно его взглядам, могут иметь два значения: пересказывательное и непересказывательное, адмиративное.

С теоретической точки зрения, по мнению ряда исследователей (ср. Г. Герджиков, 1984), предложенное Масловым решение противоречит принципу наличия лишь одного общего (системно обусловленного) значения грамматических категорий, в то время как значения ПФ и адмиратива не имеют инварианта.

П. Пашов (1984), анализируя семантику ПФ, в число которых он также фактически относит и употребление этих форм с адмиративным значением, тем не менее не усматривает в этом явления полисемантизма. Общее, инвариантное значение ПФ и адмиратива он видит в том, что и в случаях, когда глагольная форма типа *спял* содержит утверждение «така ми казаха» ‘так мне сказали’, и в случаях, когда та же форма означает «а аз мислех, че не спи» ‘а я думал, что не спит’, в ее семантике обязательно содержится указание на еще один предшествующий момент: когда некто другой сообщает говорящему о действии или когда само говорящее лицо думало, что действие совершается (или не совершается) в данный момент (обратно действительно имевшей место ситуации). Различие же этих двух употреблений ПФ состоит, согласно Пашову, в том, что основным в семантике ПФ в первом случае является формально выраженное указание на отсутствие собственного определения модуса действия говорящим (т.е. этот модус – например, индикатив – устанавливается не говорящим лицом), в то время как во втором случае говорящий сам определяет модус действия, но при этом не пересказывает чужое, а опровергает свое собственное мнение. Нетрудно убедиться, что объединив ПФ и адмиратив указанием на имеющее место при этом слияние настоящего и прошедшего ориентационных моментов, Пашов в то же время четко разграничивает их модальность: отсутствие личного модуса / наличие собственного модуса, который, однако, не является адекватным действительности в момент, когда говорящий думал, что действие совершается (или не совершается). Это делает его опыт поиска общего, инвариантного в семантике ПФ во всех случаях их употребления, включая адмиративное, достаточно уязвимым, несмотря на очень тонкое описание этой семантики, не вызывающее само по себе особых возражений: различие

в модусе делает теоретически невозможным объединение в общую форму этих семантических категорий.

Достаточно распространенным является мнение, что адмиратив является не самостоятельной категорией – даже семантической –, а выступает как транспозиция пересказывательных форм: т. е. как их употребление в контексте, в той или иной степени противоречащем ее прямому значению (Х. Вальтер 1982, Б. Дарден 1977, В. Фридман 1977). Стремясь передать значение неожиданности, удивления в высказываниях ярко экспрессивного типа, говорящий использует форму пересказывания (сообщение на основе чужой информации) и в то же время характеризует констатацию факта как свое собственное, личное мнение.

Вопрос о месте адмиратива среди семантических категорий болгарского глагола Ив. Куцаров (1984, 1992) решает на уровне функционально-семантической грамматики. По его мнению, явление “адмиратив” возникает, когда формы граммы “пересказывательность”, относимые Куцаровым к выделяемой им морфологической категории “вид высказывания”, функционируют на периферии функционально-семантического поля модальности (с ядром – морфологическая категория наклонения) и в сочетании с другим модальным модификатором – специфической интонацией – выражают адмиративное значение. Поскольку это значение выражено формой не в ее истинной функции, адмиратив не может быть граммемой ни одной морфологической категории: ни наклонения (нельзя говорить об адмиративном наклонении), ни морфологической категории вид высказывания (нельзя говорить об адмиративном высказывании наряду с непересказыванием и пересказыванием; так как формальное различие между адмиративом и ПФ отсутствует).

По мнению Герджикова (1977, 1984), «адмиратив – это только особое употребление умозаключительного модуса (конклюдива), при котором вывод, умозаключение, констатация оказались удивляющими и неожиданными для самого говорящего, поскольку он не думал о подобном положении вещей или даже ожидал как раз противоположное». При этом вспомогательный глагол *e,sa* в третьем лице может опускаться, но не обязательно: «Видя ли сега! Той *e* знаел за станалото, а мълчи» и «Виж ти! Той *знаел* за станалото, а мълчи!».

Герджиков выдвигает положение, что адмиратив употребляется как в плане настоящего, так и в плане прошлого, причем между этими случаями имеются различия.

В плане прошлого конклюдив употребляется главным образом для выражения несвидетельского отношения к событию, которое говорящий реконструирует в момент речи на базе вывода, умозаключения, обобщения.

Если эти данные оказываются неожиданными для говорящего, удивляют его, возникает частное значение, которое традиционно называется адмиративом. Иными словами, в плане прошлого адмиратив есть не что иное как одно из частных значений умозаключительного модуса.

В плане непростого умозаключительный модус выражает действие подчеркнуто субъективно, как личную констатацию, вывод или умозаключение, к которым говорящий приходит сугубо личным путем и которые его самого удивляют, являются неожиданными. При этом сам умозаключительный модус в настоящем времени стесняет границы своего употребления практически рамками адмиратива. Следовательно, по мнению Герджикова, так называемый адмиратив не является ни отдельной категорией, ни вторым, независимым значением пересказывательных форм (ср. Ю.С. Маслов), ни даже транспозицией пересказывательных форм в поле непересказывательности (Ив. Куцаров). Адмиратив – это только одно из употреблений (частных значений) умозаключительного модуса, причем отнюдь не выпадение вспомогательного глагола в третьем лице само по себе создает адмиративное значение. Можно, конечно, как заявляет Герджиков, назвать адмиративом только более экспрессивный вариант, но это уже вопрос терминологии.

Как отдельную грамматическую категорию, входящую в состав пяти особых “наклонений”, объединенных по признаку “несвидетельствованность” рассматривает адмиратив Ц. Младенов (1959). Эти пять несвидетельских наклонений разделяются на две группы в зависимости от того, представлено ли действие говорящим как воспринятое им через другое лицо (в эту группу входят ПФ), или как личное суждение (сюда отнесен “инопинатив”, т. е. адмиратив, а также конклюдив). Интерес представляет сам опыт найти инвариантное значение названных форм: признак “несвидетельствованность”, на самом деле, не определяет семантику адмиратива, представляющего действие как личную констатацию неожиданного факта независимо от источника информации о нем (см. Е.И. Демина, 1959).

Т.В. Цивьян (1992) объединяет ПФ и адмиратив в рамках “КП” – категории пересказывания –, основываясь на характерной для Балкан семиотической оппозиции внутренний/внешний, и рассматривая адмиратив как обогащение КП, в своих истоках нейтральной, эмоциональными значениями, возникающими как эмоциональная реакция слушающего на информацию. «Привнесенная в КП эмоциональность, возможно, и дала основание выделять на уровне грамматики категорию адмиратива. В основе его лежит обогащение факта, не известного говорящему до момента речи. В ММ (модели мира – Е.Д.) почти универсально заложено эмоциональное восприятие ситуации перехода между состоянием “незнания” и состоянием внезапного

приобретения “знания”. Разница с нейтральным употреблением КП заключается таким образом лишь в резкости перехода извне внутрь ситуации».

Вне внимания Цивьян как и многих других исследователей остается важное, на наш взгляд, обстоятельство. При употреблении ПФ говорящий фактически сообщает собеседнику об уже известных ему, говорящему, с чужих слов факте или сообщении о факте, подчеркивая выбором данной семантической категории опосредствованность послужившего основой для сообщения источника своего знания. Таким образом, никакого (а не только резкого) перехода от ситуации незнания к ситуации знания – присущего адмиративу, значение которого отталкивается от “незнания” как от “психологического прошлого” (термин Й. Симеонова), которое отвергается – здесь нет. Поэтому невозможно на этом основании установить общее в значении ПФ и адмиратива, объединить их в одну “категорию пересказывания” на рассмотренной выше основе. Мы можем лишь безусловно согласиться с наличием у этих форм инварианта на семиотическом уровне, что связано с генезисом этих форм.

На наш взгляд, формы типа *пишел съм, пишел*, выступающие в тексте либо в пересказывательной, либо в адмиративной функции, представляют собой исторические омонимы, возникшие в процессе длительного становления современной болгарской глагольной системы в балканской среде под влиянием, в частности, модели тюркского (османо-турецкого) образца. В болгарский язык они проникали вначале в процессе бытового общения в рамках конкретных устных высказываний, в репликах. Усвоение и грамматикализация каждой из упомянутых семантических категорий шло самостоятельным путем, о чем, возможно свидетельствует не только материал памятников XVII века, где уже находим адмиратив, но еще нет ПФ настоящего времени, но и более раннее появление в албанском адмиратива по сравнению с коментативом.

Омонимия широко представлена в болгарской глагольной системе; как известно, в 1 и 2 лице ед. и мн. числа омонимичны пересказывательные и конклюдивные формы, что не мешает их разграничению в условиях текста. То же можно сказать и об омонимии ПФ и форм, выражающих адмиративное значение, которая в данном случае захватывает и формы 3 лица ед. и мн. числа.

Таким образом, автор данного реферата признает наличие в болгарском языке форм адмиратива (АФ), омонимичных ПФ, которые на основании общего для них признака опосредствованности входят как инвариантные в состав категории более высокого ранга – “категории опосредствованности говорящим лицом оценки отношения действия к действительности”. К ней

принадлежат также такие семантико-грамматические категории (субкатегории), как конклюдив и инвертитив.

М.И. Ермакова

ОТРАЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА СЕРБОЛУЖИЦКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЯЗЫКИ В ЭПОХУ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕРБОЛУЖИЧАН

Серболужицкие литературные языки – верхне- и нижнелужицкий, начало формирования которых относится к концу XVII – началу XVIII вв., в период, предшествующий серболужицкому национальному возрождению, то есть к началу XIX в., имели ограниченные функции. Они применялись, главным образом, в церковно-религиозной сфере и были достаточно консервативны по своему характеру. На всех уровнях серболужицкой языковой системы наблюдается насыщенность большим числом германизмов, что особенно ярко проявляется в лексике обоих литературных языков. Как и в первых библейских переводах на серболужицкий язык, в верхне- и нижнелужицком литературных языках начала XIX в. отмечаются многочисленные прямые заимствования из немецкого языка, множество калек немецких образований, гибридных форм и сложных слов, включающих морфемы немецкого и серболужицкого происхождения. Литературные языки серболужичан, по мнению ряда деятелей серболужицкого возрождения, производили впечатление языка, в котором слова “звучали по-славянски, а конструкции образовывались по чужому образцу”. В этот период становится явным разрыв серболужицких литературных языков с живой народной речью серболужичан, для которых диалект являлся основным средством общения и также испытывал влияние немецкого языка (Ермакова 1998, 1999, 2000; Шустер-Шевц 1995).

В 40-х годах XIX в. появляются стимулы и условия для развития серболужицкой литературы светского содержания, для развития прессы и серболужицкой культуры. Их развитие требовало сломать консервативный характер серболужицких литературных языков. Издание популярных и научных произведений на серболужицком языке стало основной задачей Серболужицкой матицы, созданной в 40-е годы XIX в. В связи с этим возникла необходимость выработки новых орфографических норм формирующегося верхнелужицкого единого литературного языка, расширения его лексического состава и совершенствования на всех уровнях языковой

системы на основе научного изучения как самого литературного языка, так и народного языка серболужичан. Народный серболужицкий язык рассматривался деятелями серболужицкого возрождения в качестве критерия "чистоты" языка, базы для корректирования и обоснования вырабатываемых норм серболужицких литературных языков на новом этапе развития. Поэтому обращение к народному языку для деятелей серболужицкого национального возрождения приобретало особое значение.

В связи с новыми историческими и общественно-политическими условиями развития серболужичан в середине XIX в. и формированием и развитием городской культуры, литературы светского содержания, началом активного научного изучения серболужицких литературных языков и диалектов встала задача изменения характера серболужицких литературных языков и его взаимоотношений с народным языком (Stone, 1968; Ермакова 1998).

При существующих особенностях серболужицких литературных языков к началу XIX в., речь в первую очередь могла идти об их "очищении", защите от внешних явлений и, прежде всего, от усиливающегося влияния немецкого языка, освобождении от немецких элементов, многие из которых заняли прочное место в серболужицком языке в связи со специфическими условиями предшествующего исторического развития серболужичан.

В этот период деятели серболужицкого национального возрождения обращаются не только к данным серболужицких диалектов и традициям серболужицкой письменности, но и к особенностям других славянских языков. Стремление к определенной реславянизации наряду с "очищением" от немецких элементов являются характерными особенностями языковой политики, осуществляемой в тот период деятелями серболужицкого национального возрождения. Замена не только новых, но и более ранних немецких заимствований лужицкими новообразованиями должна была подчеркнуть славянский характер серболужицких литературных языков (Stone, 1985).

О результатах действия пуристических тенденций в XIX в. в период национального возрождения дает представление первый лексический компендиум верхнелужицкого литературного языка, созданный Х.Т. Пфулем (Pfuhl 1866) при участии крупных деятелей серболужицкого национального возрождения Х. Зейлера и М. Горника. В нем зафиксирована верхнелужицкая лексика того периода, в том числе и диалектная, неологизмы, заменившие употреблявшиеся до сих пор соответствующие заимствования из немецкого языка. Ср., например, *štunda* (нем. Stunde) → *hodžina*; *tawzunt* (нем. tausend) // *tysac* (лучше) → *tysac*; *lazować* (нем. lesen) // *čitać* → *čitać*:

cwyfel, *cwyfl* (нем. Zweifel) // *dwěl* (нем. калька) → *dwěl*; *raclnować* // *ličić* (нем. rechnen) → *ličić* (употребляется в народных песнях, мужаковском и слепянском диалектах). Ср. также употребление синонимов *wajchtar* (нем. Wächter) // *stražnik*, *loft* (нем. Luft) // *powětr*, *frejota* (нем. Freiheit) // *swoboda*, *zejch* (нем. Zeich) // *znamjo* (Енч 1989, Jentsch 1996, Jenč 2003).

В период национального возрождения из серболужицких литературных языков уходят некоторые глагольные конструкции, где вместо обычного префикса в славянских языках употребляется наречие типа *nutřidžeć*, *prjódknjesć* / *prjedknjesć*, *prjedygč*, *horječahnyć*, *wonkawostajić*, вместо них выступают соответственно *dowidžeć*, *přednjesć*; *předgč*, *předslowo*, *wočahnyć*, *wuwostajić*. Сложные глагольные образования с наречием сохраняются в диалектной речи (Jenč 2003).

Изменения происходят и в употреблении так называемых гибридных форм и сложных слов, образованных с участием немецких элементов. Ср., например, вместо *hawptměsto* появляется сочетание прилагательного с существительным *hłowne město* или сложное слово с соединительным гласным -o – вместо *hegenwola* (нем. Eigenwille).

Незначительные различия между конфессиональными вариантами верхнелужицкого литературного языка в период серболужицкого возрождения почти полностью исчезают, а там, где в одном из вариантов употребляется германизм (наряду с соответствующим серболужицким словом в другом варианте), побеждает славянский эквивалент. Ср. вместо (h)eksempł, характерного для протестантского варианта и заимствованного из немецкого, теперь употребляется только *příklad*, распространенный в католическом варианте (Jenč 2003).

Пуристические тенденции действовали на протяжении всей истории развития серболужицких литературных языков, что нашло отражение в лексикографических трудах начала XX в. (словари Ф. Резака, Ю. Краля). В период национального возрождения пуристические тенденции явились высшим проявлением защиты народной самобытности в специфических условиях серболужицкой языковой ситуации и формирования единого верхнелужицкого литературного языка. До 40-х гг. XIX в., когда серболужицкий язык применялся почти исключительно в церковной литературе, а светская и научная литература отсутствовали, не существовало убедительных стимулов для развития на серболужицком языке различных терминологических систем, характерных для тех или иных сфер общественной и научной жизни, для появления лексики, обслуживающей не только церковную письменность (переводы библейских и литургических текстов, церковных песнопений, нравоучительная литература и т.д.), но и светскую поэзию, публицистику, административную сферу жизни, различные облас-

ти науки, в том числе и труды, непосредственно связанные с серболужицкой тематикой, как, например, грамматические исследования и философские трактаты. Многие из них появлялись прежде на немецком языке или на латыни.

Сильное влияние немецкого языка на серболужицкий в период до 40-х гг. проявлялось не только в области лексики, но и на уровне грамматической системы, синтаксиса. Поэтому в эпоху серболужицкого национального возрождения пуристические тенденции, направленные против немецкого влияния, также нашли отражение в языковых реформах, предложенных такими деятелями национального возрождения, как Я.А. Смолер, Й.П. Йордан, Х.Т. Пфуль, М. Горник. Так, Я.А. Смолер выступал против аналитических форм перфективных глаголов в серболужицком языке, в частности, против образования в серболужицком языке форм пассива с помощью заимствованного глагола *woradować* – *wac* (*werden*). Меньшее внимание в процессе “очищения” серболужицких литературных языков уделялось синтаксису, хотя, как утверждал серболужицкий поэт Я. Барт-Чишинский, именно в этой области языка немецкий дух пустил особенно глубокие корни (Michałk 1962).

Деятельность пуристов в период национального возрождения имела противоречивый характер. Большое значение имела субъективная позиция того или иного деятеля по отношению к германизмам, в отборе лексических и грамматических средств. Установка на реславянизацию литературных языков вела к отрыву этих языков от народного языка серболужичан, большая часть которых пользовалась своим диалектом наряду с немецким языком и оставалась пассивным адресатом, на язык которого серболужицкий литературный язык не оказывал заметного влияния, а немецкий язык в значительной степени выполнял функции литературного языка для серболужичан.

В период национального возрождения лексический состав серболужицкого языка пополняется в области таких терминологических систем как абстрактная лексика, бытовая лексика, животный мир, общественно-политическая лексика; лексика, связанная с образованием, воспитанием, наукой; административная лексика, искусство, лингвистическая терминология, эмоциональная и интеллектуальная деятельность человека, лексика, связанная с понятиями времени; терминология промышленная, техническая и финансовая; географическая терминология; названия месяцев и др. (Stone 1971, Трофимович 1989).

Благодаря активной сознательной борьбе с чрезмерным влиянием немецкого языка в 40-е гг. XIX в. значительно сокращается состав немецких заимствований в серболужской литературной лексике, изменяется состав

калек с немецкого, ср., например, обозначение понятий, вошедших в серболужскую письменность только после 1840 г. *wukraj* (нем. *Ausland*), *předskok* (нем. *Vorsprung*), *lětdžesatk* (нем. *Jahrzehnt*), *wobdarjeny* (нем. *begabt*), *rozestajić* (нем. *auseinandersetzen* в значении “объяснить”) (Stone 1971, Јенс 2003).

Для серболужицких литературных языков периода национального возрождения не характерны новые заимствования из немецкого языка (за исключением европеизмов), но сохраняются некоторые заимствования, распространенные в серболужицких литературных языках в предшествующий период. Они представлены, главным образом, терминами из церковно-религиозной сферы, как, например, *warnować* (нем. *warnen*) *parować* (нем. *entbehren*), *hnada* (нем. *Gnade*), *žohnowanje* (нем. *Segen*), *zatamać* (нем. *verdammten*). Ср. также новые германизмы как *bryla* (нем. *Brille*, укоренившееся в литературном языке и вошедшее во все словари), *štrumpa* (нем. *Strumpf*), *tinta* (нем. *Tinte*), *tefla/tofl* (нем. *Pantoffel*), *Helefanta* (нем. *Elefant*), *Burgar* (нем. *Bürger*), *fórgan* (нем. *Fuhrmann*), *harfa* (нем. *Harfe*).

Значительную часть новой лексики эпохи серболужицкого национального возрождения составили европеизмы, вошедшие в употребление через посредство немецкого языка (Ермакова 1997).

Судьба же немецких заимствований в серболужицкой лексике была различной: часть этих заимствований вошла прочно в литературные языки и была включена во все словари; другие не ушли из употребления, хотя и были исключены из всех словарей; третьи – на определенном этапе были заменены серболужицким термином, а затем, получив специальное значение, снова вошли в употребление; четвертые, несмотря на пуристические усилия заменить их лужицким словом, остались в употреблении, иногда с указанием в словарях на различия в значении между заимствованием и соответствующим лужицким термином; некоторые из заимствований могли существовать в серболужицких литературных языках до 40-х гг. XIX в., а позднее могли употребляться наряду с лужицким термином. Иногда заимствование употреблялось наряду с серболужицкими соответствиями, которые могли бы вытеснить из употребления это заимствование, но оно осталось в употреблении.

Пуристические тенденции и стремление избегать германизмов на грамматическом уровне привели к изменениям и в области образования и употребления некоторых серболужицких грамматических форм. В некоторых случаях можно говорить об определенном сужении употребления грамматических германизмов, но большая их часть сохранилась и в языке периода национального возрождения. Ср., например, употребление указа-

тельных местоимений *tón, ta, to*, количественных числительных в атрибутивном употреблении, отрицательного местоимения *žadup* и др.

В области именного словоизменения особого внимания с точки зрения выяснения степени влияния немецкого языка на грамматическую систему серболужицких литературных языков заслуживает судьба определенного артикля. В системе глагольного словоизменения – образование некоторых глагольных форм (например, форм будущего времени), образование форм пассивного залога, повелительного и сослагательного наклонений, конструкций с отглагольным существительным.

Исследование проблемы влияния немецкого языка на серболужицкие литературные языки в период серболужицкого национального возрождения предполагает и рассмотрение особенностей серболужицкого синтаксиса и выяснение соотношения двух языков в области отдельных синтаксических конструкций и порядка слов.

ЛИТЕРАТУРА

Енч 1989 – Енч Г. О развитии лексической нормы верхнелужицкого литературного языка со второй половины XIX в. до настоящего времени // *Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов*. М., 1989.

Ермакова 1998 – Ермакова М.И. Проблемы развития верхнелужицкого литературного языка в период национального возрождения // *Славянские литературные языки эпохи национального возрождения*. М., 1998.

Ермакова 1997 – Ермакова М.И. Некоторые особенности процесса интернационализации в лексике и грамматике верхнелужицкого литературного языка. М., 1997.

Ермакова 1999 – Ермакова М.И. Развитие норм серболужицких литературных языков в связи со спецификой языковой ситуации // *Проблемы славянской диахронической социолингвистики. 6 динамика литературно-языковой нормы*. М., 1999.

Ермакова 2000 – Ермакова М.И. Роль пуризма в истории верхнелужицкого литературного языка // *Folia Slavistica* Пале Михайловне Цейтлин. М., 2000.

Трофимович 1989 – Трофимович К.К. У истоков терминотворчества в верхнелужицком литературном языке // *Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов*. М., 1989.

Шустер-Шевц 1995 – Шустер-Шевц Г. Серболужицкий язык и его изучение // *Проблемы становления серболужицких литературных языков и диалектов*. М., 1995.

Jentsch 1996 – Jentsch H. Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert // *Z historii języków lużyckich*. Warszawa, 1996.

Jenč 2003 – Jenč H. Leksikaliske wosebitosće hornjoserbskeje spisowneje rěče za čas nastaća přeneje (ewangelskeje) serbskeje biblije // *Rozhlad*, lět. 53, N 11-12. 2003.

Michalk 1962 – Michalk F. Der Einfluß des Deutschen auf die Stellung des Verbum finitum im sorbischen Satz // *ZfSl*, B. VII, H. 2, 1962.

Pfuhl 1968 – Pfuhl Chr. Tr. Obersorbisches Wörterbuch. Bautzen. 1968.

Stone 1968 – Stone G. Der Purismus in der Entwicklung der Wotschatzes der obersorbischen Schriftsprache // *Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft*. Bautzen. 1968.

Stone 1971 – Stone G. Lexical Change in the Upper Sorbian Literary Language during and following the National Awakening // *Lětopis Instituta za serbski ludospyt*. Budyšin. 1971. R.A., č 18/1.

Stone 1985 – Stone G. Wo Smolerjowych leksikaliskich innowacijach // *Lětopis...* 1985. R.A. č 32/1.

В.С. Ефимова

О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ЯЗЫКА ГРЕЧЕСКИХ ОРИГИНАЛОВ НА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Работы палеославистов последних лет, особенно Е. М. Верещагина (см. Верещагин 1997; Верещагин 2001 и мн. др.), а также и наши собственные (Ефимова 2002; Ефимова 2004 и др.), утверждают нас в том, что старославянский язык должен изучаться в качестве литературного языка особого рода, а именно *средневекового* литературного языка, который не только создавался, но и развивался в IX–XI вв. непосредственно в процессе переводов произведений достаточно разнообразного содержания и различных жанров с греческого языка на славянский. Влияние греческого языка оригиналов при создании старославянских текстов было многосторонним и гораздо более сильным, чем это представлялось некоторым палеославистам (Н. А. Мещерский, Й. Курц и др.) несколько десятилетий тому назад. Результаты этого влияния в большей или меньшей мере прослеживаются на всех уровнях старославянского языка и до сих пор изучены — несмотря на

серьезную традицию — далеко не достаточно. В частности, влияние греческого языка на процессы формирования лексического фонда старославянского языка без преувеличения можно назвать одной из насущных задач палеославистики.

Старославянский язык создавался и развивался усилиями элитарного круга древних книжников — свв. Кирилла и Мефодия и их учеников и последователей. При этом одной из основных стоявших перед ними задач была задача создания *фонда книжной лексики*, способной к передаче на славянский язык соответствующей лексики текстов, написанных на одном из наиболее богатых и развитых языков в истории мировой цивилизации — греческом языке византийского периода. В ходе конкретных переводов, “по потребности”, древние книжники вынуждены были создавать слова как для обозначения ранее не известных в славянском мире понятий и реалий, так и для *замены* известных и даже используемых ранее в переводах славянских слов, взятых из народной славянской речи, но не удовлетворявших, видимо, древних книжников своей простотой. В этот процесс ориентации на образцы греческих протографов были вовлечены не только переводчики и редакторы славянских переводов “первого ряда”, но зачастую и обычные писцы, о чем свидетельствуют многочисленные следы “справ”, мелких редактирований, лексических замен и т. п. в сохранившихся до нашего времени старославянских и несколько более поздних церковнославянских различного извода рукописях. Поэтому при изучении процессов формирования и развития старославянского языка, в том числе и при изучении влияния на эти процессы греческого языка оригиналов, оказывается необходимым включить в их анализ фигуру “древнего книжника”, который был не только “носителем” старославянского языка, но и его непосредственным активным создателем.

Древние книжники создавали фонд книжной лексики старославянского языка различными путями. Один путь — употребление заимствований. Подавляющая их часть попадала в старославянские тексты непосредственно при переводе с греческого языка оригиналов (т. е. в процессе “текст → текст”), для относительно небольшого ряда старославянских заимствований (грецизмов, латинизмов, германизмов) этимологи определяют более раннее их проникновение в праславянские диалекты (т. е. эти лексемы заимствовались старославянским языком из народной славянской речи). Другой путь — активное словотворчество древних книжников, использовавших для создания книжной лексики славянский “строительный материал”. Здесь также можно выделить два основных направления их словотворчества. Первое — обусловленное определенными контекстами расширение семантического объема уже существовавших в народной славянской речи лексем. Этот

процесс применительно к условиям формирования старославянского языка наиболее адекватно, на наш взгляд, был описан Е. М. Верещагиным под названием “транспозиция” (см., например, Верещагин 1997: 40 и сл.)¹. Второе — создание *новых* лексем на базе славянских или греческих корневых морфем и славянских словообразовательных морфем. Второе направление словотворчества древних книжников можно квалифицировать как собственно словообразование, хотя словообразование в старославянском языке в силу ряда причин имело свою специфику, и хорошо разработанная для современных славянских языков словообразовательная теория не может быть применена без соответствующей переработки к старославянскому материалу. Одной из этих причин является влияние на словообразовательные процессы в старославянском языке греческого языка оригиналов, она и является предметом нашего исследования.

В течение многих десятилетий палеославистических исследований роль греческого языка в формировании старославянской лексики рассматривалась, главным образом, как проблема калькирования. Поиск разного рода калек — как греческих, так и латинских — занимает внимание палеославистов еще с начала прошлого века (см., например, Погорелов 1925 и Meillet 1926). В 1958 г. появилась работа К. Шуманна (Schumann 1958), претендовавшая, несмотря на лаконичность изложения, на известное обобщение изучения проблемы калькирования в старославянском языке. В этой работе автор сформулировал свои теоретические принципы классификации калек и дал в соответствии с этими принципами перечень греческих калек разного рода, извлеченных им из старославянских рукописей. Позднее Нандором Молнаром было проведено исследование греческих калек в старославянских евангельских текстах. Исследование Молнара, замечательное по своей тщательности и привлечению обширных материалов как славянских, так и неславянских языков, выполнявшееся автором в течение нескольких десятилетий, в отношении методических принципов исследования следовало за работой К. Шуманна.

Традиционно изучение калькирования базируется на сопоставлении пар — калькированного слова адаптирующего языка и калькируемого слова языка-источника. На этой исследовательской методике основан и упоминавшийся выше труд Молнара, и основная часть результирующей его моно-

¹Е. М. Верещагин рассматривает этот прием применительно к “терминологической лексике”, но понимает “термин” очень широко. “Терминологическая лексика” Верещагина составляет значительную часть старославянской книжной лексики, и фактически его “термин” во многих случаях приближается к нашему пониманию “книжной лексики”.

графии представляет собой своеобразный хорошо иллюстрированный словарь (Molnár 1985). И К. Шуманном, и Н. Молнаром старославянские лексемы, представляющие собой продукт обоих основных направлений в словотворчестве древних книжников, — как изменившие свою семантику уже существовавшие до деятельности свв. Кирилла и Мефодия и их последователей в народной славянской речи лексемы, так и *новые* образования, созданные ими для нужд перевода под влиянием греческого языка, — рассматривались в рамках этих методических принципов. Изменившие семантику исконно славянские лексемы квалифицировались ими как семантические кальки (semantic calques, Lehnbedeutungen) или псевдокальки (pseudocalques или также calque neologisms у Молнара, Lehnschöpfungen, Lehnübertragungen)², однако эти примеры сейчас оставляем в стороне, так как речь здесь идет о развитии семантики уже существовавших лексем. Для исследования же истинных калек (real structural calques, Lehnübersetzungen) методика сопоставления пар, видимо, не является достаточной, чем и следует объяснять многочисленные случаи, когда зачисление старославянских лексем в кальки вызывает оправданные недоумения. Несдаром Г. Лиминг подверг в свое время довольно резкой критике по этому параметру абсолютно добросовестный труд Молнара — сказалась недостаточная разработанность методики исследования (Leeming 1986). При данной методике каждая изолированная пара (калькируемого и калькированного) оказывается как бы “вырванной” из общего контекста изучения старославянских словообразовательных процессов, а между тем истинные кальки создавались древними книжниками из/или с использованием славянского “строительного материала”, с помощью славянских словообразовательных морфем, которые вводили эти лексем в круг лексем определенной славянской структуры. По нашему мнению, — во всяком случае, при изучении формирования лексического фонда *старославянского* языка, — явления калькирования в части создания *новых* лексем следует рассматривать (и исследовать) как неотъемлемую часть старославянского словообразовательного механизма.

² В упоминавшейся выше монографии Н. Молнар дает — в соответствии со своими принципами исследования — дефиниции разного типа калек и соотношение употребляемой им английской терминологии с традиционной немецкой (Molnár 1985: 64-66). Вместе с тем проблема так называемого “семантического калькирования” применительно к старославянскому материалу требует, как кажется, дальнейшего изучения. Представляется, что многие лексемы, определенные К. Шуманном или Н. Молнаром как “семантические кальки”, более адекватно описываются как результат операции “транспозиции” по Е. М. Верещагину.

Согласно нашим наблюдениям, для древнего книжника был важен облик славянского слова, которое должно было быть “достойным” выполнения своей функции перевода соответствующего слова греческого оригинала и выглядеть не хуже греческого (т. е. быть достаточно сложным и книжным). Многочисленные факты свидетельствуют, что древний книжник стремился использовать яркий продуктивный аффикс, состоящий материально из выразительной последовательности фонем, легко воспринимаемой как значащая часть слова. По мере становления и развития старославянского языка нарастало и стремление приблизить морфемную структуру к морфемной структуре греческого слова. Последнее особенно характерно было для книжников Преславской школы (ср., например, соответствующие наблюдения, сделанные в (Иванова-Мирчева 1975: 38-39). На фоне других старославянских лексем с теми же словообразовательными морфемами и должны изучаться, по нашему мнению, предполагаемые кальки.

Таким образом, изучение влияния греческого языка на старославянские словообразовательные процессы не следует исчерпывать традиционным поиском греческих калек. Опыт исследования старославянского словообразования показывает, что разные области старославянского словообразовательного механизма были вовлечены во взаимодействие с греческим языком оригиналов в разной степени. Старославянские словообразовательные морфемы обнаруживают не одинаковую степень участия и в процессах калькирования, и в сочетаемости с корневыми морфемами греческого происхождения. Так, например, суффикс прилагательных *-ь/-* не встречается в сочетании с корневыми морфемами греческого происхождения (ср. такие лексемы, как *коѹрни*, *отрочни*, *пъсни* и др.), хотя в старославянских рукописях³ и отмечены две кальки с этим суффиксом, образованные на базе сочетаний с предлогом *bez* — *вещьстни* [be-šťst-ь/-] ‘непочитаемый, не пользующийся почетом’ на базе *безъ чьсти* и *безъратни* [bezъ-rat-ь/-] ‘мирный, без войны’ на базе *безъ рати* (обе лексемы — кальки с греческих, содержащих α -privativum: ἄτιμος и ἀπολέμητος соответственно). В то же время из 133 прилагательных с суффиксом *-ov-*, употребленных в старославянских рукописях, только 11 лексем образованы от славянских основ. В некоторых случаях этот суффикс (как и, например, суффикс *-ev-*) оказывается способным образовывать новое прилагательное непосредственно от слова греческого оригинала при отсутствии старославянского мотивирующего существительного (т. е. лексема из текста греческого оригинала ока-

³ Старославянскими называем рукописи “классического старославянского канона”, ориентируясь в определении их круга и разного рода подсчетов на известный (Словарь 1994).

зывается непосредственно включенной в словообразовательные отношения мотивации). Ср., например: *φωτὸν σωβῆκ* — *грѣмъ савековѣ* [savek-ov-ъ] при отсутствии в старославянском языке сущ. *савекъ. Такая избирательность древнего книжника по отношению к славянским словообразовательным морфемам требует своего исследования. Конечно, в первую очередь в процессы взаимодействия с языком греческих оригиналов были вовлечены продуктивные словообразовательные аффиксы, но степень их вовлеченности не всегда объясняется только продуктивностью. Так, например, участие в калькировании широко распространенного суффикса -ik- (в комплексах -ъnik-, -enik-) довольно ограничено (Р. М. Цейтлин, например, считала, что “форманты” -ъnik- и -enik- вообще не участвовали в калькировании греческих слов (Цейтлин 1977: 94), в то время как несколько даже менее употребительный в старославянском языке и отчасти конкурирующий с суффиксом -ik- суффикс -ъс- часто использовался при калькировании (ср., например, *вѣстоудѣць* [be-stud-ъс-ъ] ‘бесстыдник’ — *ἀναίδης*, *богоборць* [bog-o-bor-ъс-ъ] ‘богоборец’ — *θεομάχος*, *четвьртовластьць* [četvrt-о-vlast-ъс-ъ] ‘тетрарх’ — *τετραρχης* и мн. др.). Возможно, в случаях с конкурирующими словообразовательными морфемами играла роль их характеристика, которую мы называем “словообразовательной валентностью” словообразовательной морфемы, т. е. степень ее способности сочетаться с разными производящими основами — субстантивными, адъективными, глагольными, участвовать или не участвовать в сложениях⁴.

ЛИТЕРАТУРА

Верещагин 1997 – Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. М., 1997.

Верещагин 2001 – Верещагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси: Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.

Ефимова 2002 – Ефимова В. С. К характеристике книжной лексики в первом литературном языке славян (роль перевода Апостола) // Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002.

⁴ В современной отечественной словообразовательной теории, где ключевым понятием является понятие словообразовательного типа, существует тенденция считать словообразовательный аффикс, фигурирующий в разных словообразовательных типах, рядом омонимичных словообразовательных аффиксов, что, однако, для словообразования *старославянского* не является релевантным.

Ефимова 2004 – Ефимова В. С. О сочинительных союзах в старославянском языке — где место союзу *а?* // Вербальная и невербальная опоры пространства межфразовых связей. М., 2004.

Погорелов 1925 – Погорелов В. А. Из наблюдений в области древнеславянской переводной литературы: I. Латинское влияние в переводе евангелия. Bratislava, 1925.

Meillet 1926 – Meillet A. L'hypothèse d'une influence de la Vulgate sur la traduction slave de l'Évangile // Revue des études slaves. T. 6. Fasc. 1/2. Paris, 1926.

Schumann 1958 – Schumann K. Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. Berlin, 1958.

Molnár 1985 – Molnár N. The Calques of Greek Origin in the Most Ancient Old Slavic Gospel Texts. A Theoretical Examination of Calque Phenomena in the Texts of the Archaic Old Slavic Gospel Codices. Köln; Wien, 1985.

Leeming 1986 – Leeming H. [Rec.]: Molnár N. The calques of Greek origin... // Slavonic and East European review. Vol. 64. № 4. London, 1986.

Иванова-Мирчева, Икономова 1975 – Иванова-Мирчева Д., Икономова Ж. Хомилията на Епифаний за слизането в ада. София, 1975.

Цейтлин 1977 – Цейтлин Р. М. Лексика старославянского языка. Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. М., 1977.

Словарь 1994 – Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. М., 1994.

А. Ф. Журавлев

ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НА НАРОДНЫЕ ГОВОРЫ: ЛЕКСИКА

При априорной очевидности воздействия, которое литературный идиом через церковный обиход, казенные учреждения (административные структуры, школа, армия и др.) и средства массовой информации (раньше радио, сейчас преимущественно телевидение, в существенно меньшей, если не минимальной, мере газета) оказывал и оказывает на территориальные говоры, его выявление и полнообъемное изучение оказываются задачами не столь простыми, как может показаться поначалу.

Первой сложностью является разграничение общезыковой лексики и словарных единиц, принадлежащих только литературной, кодифицирован-

ной формации или возникших и первоначально функционировавших только в ее границах.

Важной и непросто преодолимой является проблема достаточности источников информации. Непосредственные наблюдения над живой диалектной речью у каждого отдельного исследователя понятным образом ограничиваются его чисто физическими возможностями. В лучшем случае собиратель, для которого осуществимо долгосрочное “вживание” в говор, использует так называемый “метод включенного наблюдения”, но подобный опыт вряд ли может быть применен к значительному числу конкретных диалектных или идиолектных “ситуаций”.

Для определения сфер и конкретных путей воздействия литературного языка на диалекты региональная лексикография оказывается также сравнительно ограниченным источником сведений. В подавляющей своей массе диалектные словари построены на дифференциальном принципе (обычно понимаемом слишком прямолинейно), и слово, попавшее в территориальный говор из кодифицированных сфер языка, помещается в диалектный лексикон лишь в том случае, когда его значение трансформировано явным образом, а такие обычные при миграции слова из подсистемы в подсистему явления, как сокращение числа словарных значений и упрощение семантической структуры слова, которые уже сами по себе суть серьезный различительный момент, как правило либо остаются неотмеченными, либо диалектологом-собирателем и лексикографом даже не осознаются. Но если подобные изменения лексикографом и регистрируются, они описываются в словаре как правило атомарно, в качестве изолированного факта, вне соотнесения элемента с другими узлами лексико-семантической микросистемы или смыслового ряда.

Несомненны значительные трудности в сличении формально совпадающих лексических единиц, формирующих словарный состав литературного языка и лексикон диалекта. Они могут существенно различаться в членении предметно-смысловых зон, включенностью в подгруппы, несовпадающие по инвентарному составу, закономерностями смыслового развития (например метонимического переноса), по набору и характеру реализации грамматических значений и проч. Установление таких различий должно быть непременной составляющей исследования “межсферного” перемещения лексики.

Трудности состоят и в том, что не всегда с уверенностью можно судить о принадлежности зарегистрированного в лексиконе слова говору или идиолекту.

Прособразования, которым подвергается слово, мигрируя из литературного идиома в народные говоры, касаются (могут касаться) всех без исклю-

чения языковых уровней — от смены акцентных характеристик до сдвигов в синтаксическом поведении слова, от сужения его семантики до формирования на базе книжного заимствования новой диалектной фразеологии.

В области фонетики и просодики многие констатируемые явления обнаруживают близость тем, которые были выявлены при анализе иноязычных заимствований (при посредничестве литературного языка) в русском просторечии (см. нашу статью в сборнике “Городское просторечие. Проблемы изучения”, М., 1984). Это различные, обусловленные разными причинами смены звуков (оглушение звонких, озвончение глухих, устранение хиатуса, лабиализация нелабиализованных гласных, делабиализация [y], упрощение групп согласных, гиперкорректная аффрикатизация [с], отвердение мягких согласных и мн. др., ср. *бакбет* “пакет”, *бальцбан* “бальзам”, *бикбет* “пикет”, *ермбония ермбонь* “гармоника”, *капишбон*, *капрбыз*, *нападборы* “помидоры”, *склырбоз* “атеросклероз” и т. д.), вокальные и консонантные ассимиляции — *берслбет* “браслет”, *блбомба*, *камарбим* “аквамарин”, *мармазбон*, *мартерьяр*, *скирпибон* “скорпион” и т. д.; диссимиляции — *бальберы* “поплавки”, *камфбор* “фарфор”, *лесбора* “рессора”; консонантные эпентезы, в том числе “нетрадиционные”, например с помощью [б]: *балтбарь* “алтарь”, *балхирбей* “архиерей”; консонантные метатезы — *берслбет* “браслет”, *мбармер* “мрамор” и проч.; сокращение количества слогов — *барбисовый* “барбарисовый”, *басловбенья*, *басловбить(ся)*, *блбавестить*, *канбика* “каникулы”, *нарбодец* “инородец” и мн. др.

В области морфологии при заимствовании из литературного языка в диалекты в первую очередь следует отметить изменения рода имен существительных: *бакбалба* “деревянный стакан, кружка”, *балдрибан* “валерьяна”, *жбуцело* “ад”, *збайма* “заем” (1936), *кбамфбор* “ведро для приготовления пищи на углях”, “маленькая печка” (ср. литер. *конфорка*), *канбалей* “каналья”, *капрбиза* “капризный человек, ребенок”, *магазбина*, *плбатин* “платина” и под. Практически неизученной оказывается область морфологических преобразований в системе “перемещенного” глагола.

При обращении к словообразовательной подсистеме отмечаются изменения (упрощение или усложнение) деривационной структуры слова, ср. *безгрбамота* “безграмотность”, *канберный* “нервный”, *скомплбетить* “с-, у-комплектовать”, *сконтуженный*, *сконтужить* (экспликация вида?), *скоперовбаться* “скооперироваться”, *скбопия* “копия” (ср. *скопировать*), *скопалбитно* “быстро” и т. д. Включение пришедшего из литературного идиома слова в деривационную сеть диалекта вызывает новые производные: *банкбетовбать*, *бабянить* “играть на баяне”, *биржбак*, *ббиржешник*, *биржбовицик* “биржевой извозчик”, *допризбывница* “любовница” (связано с *допризвник*, но с иной содержательной мотивацией — “девушка, с кото-

рой (некто) водился до призыва в армию”), *канбалец* “работавший на строительстве канала”, *канбалка* “телогрейка (в которых работали “канальцы”)”, *канбальский* “относящийся к каналу”, *капитбальтаться* “жить, кормиться”, “жить богато”, *капитбалка* “капитальная стена”, *капитбальный* “богатый”, “сытый, толстый” (производное от *капитал*, а не семантические изменения в “уже готовом” прилагательном *капитальный*), *капрбизишка*, *капрбизливый*, *капризбуха*, *капрбизчивый*, *капрызбуля*, *магазинский*, *маёриться* “важничать” (по-видимому, от *майор*), *налбожница* “женщина налоговая агент” (совпадение с литературным *наложница* “любовница”, конечно, случайно), *намбодиться* “нарядиться”, *представитель* “актер-пересмешник”, *скомпонбиться* “собраться в кучу” (*компанию?*) и под. Любопытны случаи освоения диалектами заимствованных иноязычных аффиксов — *бальзамбент* “бальзамин”, *капризбан*, *надписбация* “надпись”, *накдокции* “анекдоты”...

Наибольший интерес вызывают явления, затрагивающие лексическую семантику.

При заимствовании слова со сколько-нибудь сложной семантической структуры стандартным является ее редукция; многозначное слово как правило заимствуется лишь в одном из своих значений. Диалектные словари, на которые приходится опираться в качестве основного источника для таких наблюдений, являются в подавляющем большинстве своем дифференциальными и включают лишь факты, отличные от того, что имеется в литературном языке. Словарные описания диалектной лексики не дают возможности уверенно судить о “потерях” подобного рода для множества слов, поскольку у исследователя в руках оказывается материал почти всегда ущербный, меру редуцированности семантической структуры заимствованного в диалект слова приходится устанавливать, доверяя лишь собственной интуиции.

По той же причине, то есть в силу дифференциального характера региональных словарей, у наблюдателя-читателя поневоле складывается впечатление, что всякое попадающее в говоры из литературного идиома слово (или его производное) подвергается смысловым смещениям. Разумеется, это далеко не так, но все же обилие семантических сдвигов (иной раз труднообъяснимых) составляет заметную особенность осваиваемой лексики: *балкбон* “сновал”, *ббандерша* “толстая, крупная женщина”, *безовкбусица* “плохо выполненная работа”, *ббисер* “жемчуг”, *еретбик* “колдун”, “дух; мертвец”, “нечистая сила”, “злой человек”, “балагур”, *жбуцело* “место страданий, ад”, *канбикулы* “первый лов рыбы после ледохода”, *канцелбярство* “посольство” (некрасовские казаки), *капитбал* “пища”, *капитбальный* “богатый”, “сытый, толстый”, *магнетбо* “железо”, *налбичность* “внешний

вид”, *нарекошбетить* “натворить”, *неглижбе* “распущенно, невыдержанно”, *скобинбировать* “приготовить (съестного)”, *скомбинбироваться* “устроиться, расположиться” (*Мы скомбинировались поспать*), *скомбиновбать* “скопить денег”, “придумать, устроить”, *со скбинетром* “со злобой”... Освоенное слово нередко испытывает метафорические переносы: *багрбядный* “красивый” (ср. *красный*), *ббиржа* “очень много”, *блбагвестить* “красть”, *вагбончики* “разновидность кружев”, *валбет* “кавалер”, “закиточный хозяин”, *дуст* “ехидный, вредный человек”, *кбандала* “одноглазая женщина” (ср. *камбала*).

Весьма обычной для дрейфующей в говоры лексики является подверженность наивноэтимологическим переосмыслениям, ср. *балбясина* “балласт”, *капбитель* “богатство” (если это слово связано с литературным *капитель*), *рнбамент* “нрав, темперамент” (формально — к *орнамент*), *скипидбар* “скупец”..., и формальным преобразованиям под давлением ложной этимологии, ср. *навинтбарь* “инвентарь”, *накасбомое* “насекомое”, *рукомбашный* (способ охоты на мелкого пушного зверя) “состоящий в использовании палки вместо ружья, чтобы не повредить шкуру” (ср. *рукопашный*, с одной стороны, и *махать руками*, с другой), *рукоменбация*, *руконьбер* “браконьер”... Чаше всего следует говорить о контаминациях: *валандбер*, *валендбер*, *валентбир* “лежебока” (ср. *(у)валень* — *валандаться* — *волонтёр/ир*), *варбахтер* “плотина” (ср. *фарватер* — *караактер* “характер”), *жулбей* “застывший мясной или рыбный бульон” (*желе* с фонетической оглядкой на привычные слова вроде *жулик*), *завилбоны* “в резном искусстве — разводистые фигуры, завитки”, *завулбон* “зигзаг, изгиб” (оба последних слова вызывают к *вавилон*, но первое отягощено связью с *зави(ва)ть*, во втором отражаются смутные библейские ассоциации, ср. *Завулон*, *колени Завулоново*), *канпель* “канapé” (ср. *конопель*), *канфборка* “форточка”, *мартембьян* “материал”, *неглижбе*, *неглежбе* “кое-как, небрежно” (ср. *не глядеть, не глядя*), *скоперовбаться* “скоопериваться” (не исключается воздействие глагола *скопировать*)...

Особой областью наблюдений должно стать изменение сочетаемостных свойств слова (ср., например, выражение *насекомая вода* “вода, в которую нападали насекомые”).

Многие мигрировавшие слова в новом для себя окружении “обзаваются” новой фразеологией (ср. *в каприз повернуть* “закапризничать”, *губы на канфор* “пить чай” (*кбанфор* — “фарфоровая посуда”), *магниту не хватает* “о недостатке средств”, *на своем капитале* “на своих хлебах”, *принять в каприз* “обидеться” и сотни, если не тысячи, подобных).

Наконец, малоизученными следует считать закономерности изменений в прагматических характеристиках лексики при ее перемещении из литературного языка в низовые формы речи.

Наблюдения делаются на лексическом материале, зарегистрированном русскими региональными словарями на протяжении полутора столетия, с середины XIX века до последних десятилетий. Отдельной областью сопоставительного анализа могли бы стать тенденции в преобразованиях, о которых идет речь, относящиеся к разным периодам (скажем, середина позапрошлого века — время между двумя мировыми войнами — теперешняя ситуация), в связи с ростом просвещения и роли средств массового воздействия.

Важной является оценка рассматриваемых фактов в точки зрения формационных противопоставлений “говор (диалект) : идиолект” и “диалекты : просторечие” (в связи с последним подлежит критическому анализу спорное понятие “полудиалекта”, выдвинутое Ф. П. Филиным и др.).

Л.Э. Калынь

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЗУЛЬТАТА КОНТАКТОВ РУССКИХ ДИАЛЕКТОВ С ЛИТЕРАТУРНЫМ ЯЗЫКОМ

1. Одна из основных характеристик современной русской языковой ситуации сводится к утверждению об отмирании диалектов как вариантов русского языка. Процесс оценивается как безальтернативно положительный, поскольку ассоциируется с демократизацией культуры в обществе. Условие его реализации — это изменение диалектов под влиянием литературного языка, а идеальная цель видится в сплошном распространении кодифицированного стандарта в русско-говорящем обществе.

Так обозначенная судьба русских диалектов в общем виде соответствует реальности. Русские диалекты функционируют в гомогенной среде и контактируют со стандартом через школу, средства массовой информации, через общение с лицами, репрезентирующими литературную норму языка. Предполагается, что в этих условиях носители диалекта должны менять стереотип своего языкового поведения и заменять в своей речи диалектные явления их литературными эквивалентами. Этому должно способствовать то, что для русского общества характерна сниженная социальная оценка территориально ограниченных форм языка. Можно отметить, что такое отношение к диалектам отнюдь не является единственно возможным. В любом современном сообществе высок социальный престиж литературного

языка как культурного символа нации. Но на этом фоне территориальные диалекты совсем не обязательно маркируются как недопустимые формы языка. Возможна ситуация равноправия диалекта и стандарта, когда их употребление ассоциируется с разными обстоятельствами коммуникации (семейное, официальное, неофициальное общение). Обычно примеры этого приводятся из немецкоязычной среды.

2. При однозначном формулировании цели языковой политики в отношении диалектов, в науке в то же время мало уделялось внимания изучению реализации влияния стандарта на диалекты. И совсем не затронут вопрос о том, как сами носители диалекта относятся к внешнему давлению на свой язык и, в частности, как психологически адаптируются к этому.

Переход от диалекта к литературному языку предполагает сознательный отказ от материнского языка/речи (Muttersprache). Такой отказ должен сопровождаться формированием негативной оценки своего языка. Но в русской диалектологии вопрос о том, как сами диалектоносители реагируют на то изменение языка, которое им предлагается обществом, никогда не ставился.

Программы обследования русских говоров для атласов ориентированы на запись определенных явлений грамматики и лексики, которые могут маркироваться как старые и новые. Диалектная лексика, в том числе утраченные слова, фонетические черты собраны в словарях и диалектных описаниях. Но остается неизвестной оценка носителями диалекта изменений в их языке. Довольны/нет, испытывают ли психологический дискомфорт, сожалеют ли об уходящем языке, понимают ли, что в их языке сокращаются/обедняются возможности адекватного отражения окружающего их мира? Априорно допускается, что носители диалекта безразличны к изменению их языка, пассивно подвергаясь давлению литературной речи.

В ходе полевой работы при общении с информаторами иногда можно встретить суждения относительно своего языка. Но все это отдельные и во многом случайные наблюдения. Общей картины реакции носителей русских диалектов на изменение своего языка мы не знаем.

Изменение материнского языка, связанного с определенным бытом, способом ведения хозяйства, духовными традициями, неизбежно порождает сдвиги в картине мира носителей этого языка. Остаются актуальными слова В. Даля, который писал в 1852 г. — «с языком, с человеческим словом, речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека — это осязаемая связь, союзное звено между телом и духом, без слов нет сознательной мысли, а есть только чувство и мычание» [Даль 1935, III].

3. На некоторых примерах контактов разных языков мы знаем, что язык/диалект, подвергшийся давлению, может проявлять себя как фактор

социальной интеграции в обществе и тем консервирует свое состояние и то видение мира, которое присуще его носителям (пример – серболуж. диалекты, проявившие достаточную устойчивость). Иногда это сопровождается стремлением диалекта обрести кодифицированную форму (русинский, ятвяжский), чем также эксплицируется стремление сохранить свой язык.

Никакой активности такого рода русские диалекты не проявляют. Но это не означает, что деформация диалекта не отпечатывается в сознании говорящих и не меняет для них картину окружающего мира. Обычный носитель диалекта не в состоянии формулировать свои впечатления от вновь возникающей языковой ситуации. Реакция возможна лишь на уровне общих, часто случайных высказываний.

Но существуют лица, которые, владея диалектом, могут адекватно сопоставить его с литературной формой языка и показать как деформация/устранение диалектов меняет картину окружающего мира в сознании носителей этих диалектов. Это – русские писатели 60-70-х годов, входящие в круг авторов “деревенской прозы” (Белов, Астафьев, Личутин и др.). Их творчество пришлось на то время, когда утратило актуальность резко отрицательное отношение к использованию диалектных элементов в художественной прозе. Именно они в своих текстах выступают в качестве выразителей тех психолингвистических настроений, которые свойственны их лингвистически неискушенным землякам.

Названные писатели являются диалектно-литературными билингвами и вполне осознают эквивалентность явлений, различающихся в этих формах языка. Но, обращаясь к описанию той картины жизни, которая обслуживалась их материнским диалектом, они используют в тексте средства этого диалекта. Это означает, что в конкуренции диалектного и литературного явления диалектизм оценивается автором как семантически более адекватное средство и включается в текст.

Писатель, используя свой диалект, демонстрирует такой диапазон его ресурсов, который, возможно, уже отчасти утрачен/забыт другими носителями того же диалекта. И именно писатель раскрывает специфику их языка, выразительность его средств.

Писатели деревенского круга широко используют местную лексику, отражающую духовную жизнь, быт, особенности трудовой деятельности в соответствующем регионе. Все слова, конечно, имеют литературный эквивалент, но автор настаивает на местном слове, поскольку именно оно создает языковую картину мира, актуальную в том социуме, который пользуется диалектом. В докладе в качестве иллюстрации сказанного использованы тексты писателя В. Личутина. (владеет севернорусским поморским диалек-

том региона Мезени. Описывая жизнь поморов, он широко пользуется местной лексикой, отказываясь от литературных эквивалентов.

В целом процент диалектной лексики в произведениях этого автора очень высок. Легко представить, что диалектные слова можно заменить литературными эквивалентами. Но это полностью изменит ту картину жизни, которая показана автором.

Диалектные явления, включенные в текст писателя, отнюдь не во всем своем составе присутствуют в языке современных носителей того же диалекта. Что-то забыто в связи с ушедшими реалиями. Но многое маркировано как непрестижное, неприемлемое в употреблении, чему, в частности, способствует официальная языковая политика. Вот здесь и проступает та опасность “шутки с языком”, о которой писал В. Даль. Ощущение неполноценности своего языка имеет пролонгированные последствия. Оно неизбежно вызывает социальную и культурную неуверенность у носителей диалекта, нарушает генерационные связи в социуме и в конечном итоге просто обедняет язык и речь (особенно это касается сельского молодого поколения). Ослабление своего языка не может имплицитно не ощущаться говорящими как потеря, нарушающая связь с традициями и меняющая соответствующую этим традициям картину мира. Этот серьезный психолингвистический сдвиг в сознании говорящих может, в свою очередь стать одной из причин снижения жизненной и социальной активности (возможно, “пассионарности”, по термину Л. Гумилева) населения русской деревни.

4. Русское крестьянство во второй половине XX в. стало объектом серии драматических по своим последствиям экспериментов. Разрушение традиционного экономического уклада, демографическая травма в связи с переселением и ликвидацией больших масс крестьянства, уничтожение религиозных ценностей изменило картину мира русского крестьянства. И окончательный вклад в это внесено вытеснением диалектов как формы языка, в котором отражены национальные ценности культуры и жизненного опыта разных регионов России. Процесс этот необратим и сопровождается усилением психолингвистического дискомфорта, который неизбежно формируется у носителей диалекта, если они негативно оценивают свой язык и являются очевидцами его разрушения.

Таким образом, в русской языковой ситуации контакт диалектов с литературным языком не только способствует нивелированию диалектов, но и порождает отрицательные психолингвистические последствия в среде их носителей.

ОСОБЕННОСТИ РУМЫНСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЯЗЫКИ КАРПАТО-БАЛКАНСКОГО АРЕАЛА

1. Хронологически начало влияния румынского языка на языки (=диалекты) карпато-балканского ареала может быть датировано эпохой раннего Средневековья, когда на базе одного из локальных вариантов балканской латыни (=“дунайской”, “континентальной” - Naagmann 559-560; ср. и: Reichenkron 34-35 и др.) формируется общерумынский язык (=româna comună) (VII-VIII – X вв. (Fischer 208,210; Rosetti 29-30), а затем и собственно румынский (1), в облике его макродиалектов – прежде всего дакорумынского и арумынского; последние представляют исторически конкретные “трансформации” балканской латыни, конституирование которой (в позднеантичный период и далее) связано с постепенным завоеванием Римской империей территорий на побережье Адриатики, на Балканах и в Карпатах, прямыми контактами носителей латинской речи с автохтонным населением и народами, мигрировавшими в пределах этих областей (гунны, готы, славяне и др.), появлением “цивилизационной” границы между зонами доминирования латинского и греческого языков и под.

2. Изучению вклада (балканской) латыни в формирование лексического состава балканских языков в различные периоды их истории посвящено большое число исследований (обзор современного состояния изученности данной проблемы содержится в: Naagmann); менее значительным считалось влияние на Балканах румынского языка (ср., например: Schaller 118-119). При этом исследователи отмечают трудности, существующие как при разграничении в балканских языках прямых и опосредованных заимствований из латинского, так и при стратификации заимствований, с одной стороны, из отдельных восточнороманских языков – далматинского и румынского (Tagliavini 148-149), а, с другой, – и из макродиалектов последнего (Mihail 399 и сл.)(2). Во второй половине XIX в. возник интерес к проблеме взаимодействия румынского языка и языков карпатской области (ср. труды Ф.Миклошича, Э.Калужняцкого и др.); значение румынского в этих взаимодействиях недооценивалось некоторыми исследователями (см. работы Д.Крынжалэ). Лишь по мере накопления сведений о румынизмах в отдельных славянских и неславянских языках (диалектах) ареала (ср. работы о польском (С.Лукашук), украинском (Э.Врабие), обзорный труд (С.Ницэ-Армаш и др.) и под.), конституирования в конце XX в. карпатского языкознания (нового направления в ареально-типологической лингвистике), соз-

дания в его рамках “Общкарпатского диалектологического атласа” (=ОКДА), а также начала анализа и интерпретации его материалов, – создались необходимые условия для разноаспектного изучения роли восточнороманского (румынского) влияния на диалекты соседних языков в карпатской зоне (прежде всего на карпатославянские, как наиболее полно изученные в атласе) и для уяснения особенностей указанного влияния на них, – по сравнению, например, с балканославянскими диалектами.

3. Основное различие ситуации в обеих зонах состоит, на наш взгляд, в том, что для *карпатской* непосредственный источник восточнороманизмов (романского, “автохтонного” или иного происхождения) определяется как правило достаточно четко и однозначно, – им являются говоры дакорумынского макродиалекта. Напротив, в балканской зоне исследователи часто имеют дело с альтернативными источниками, – дако- и/или арумынским (а иногда и мегленорумынским) идиомами; некоторые восточнороманизмы рассматриваются и как восходящие прямо к балканской латыни и под. Поэтому решение проблемы установление центра иррадиации того или иного романизма требует привлечения некоторых дополнительных данных – как лингвистических (например, учет фонетического критерия), так и внелингвистических (сведения о распространенности в прошлом и настоящем носителей восточнороманской речи, их истории, типах хозяйственной деятельности на протяжении веков и т.д.).

Примером сложного контекста функционирования восточнороманизмов на Балканах могут служить балканославянские соответствия рум. *colastră* ‘молозиво’ и под. (: лат. *colastra < *colostrum – Meyer-Lübke 2028). ОКДА (6, № 58) фиксирует распространение лексемы на всей дакорумынской территории в вариантах *coraslă* (восток), *corastă/curastă* (запад, центр), *colastră/corastră* (юг). По данным источников, эта лексема в форме *коластра* (*коласра* и др.) заимствована, по-видимому, из дакорумынского, в большое число болгарских говоров (север, центр, юго-восток – Младенов № 18); на юго-западе Болгарии (р-н Патрич), в соседних юго-восточных македонских говорах и к югу от Охридского и Преспанского озер (Албания) отмечен вариант *гуласта* (*гуласта*), который может быть сопоставлен с мегл. *gulastră* (*glastră*) (при арум. *culastră, curastră*); в БЕР (2, 548), вслед за С.Романским, предполагается заимствование, “через балканскую латынь”, из латинского. В сербских говорах данный восточнороманизм отмечается редко, ср. в.-серб. *ko'lastra* (ОКДА; МДАБЯ Л 129), и может быть квалифицирован как заимствование из дакорумынского; вместе с тем иные родственные формы (*kúnuzdra* [Черногория – ОКДА] и др.) имеют другой источник, – вероятно, итальянские диалекты (Клепикова 1982, с.64-65); ср. также алб. *ku'lošër* (ОКДА), *kulloštër*, н.-греч. *kl'astrá* ‘то же’ (МДАБЯ). Напротив, для карпа-

тославянских диалектов дакорумынский источник соответствующего заимствования очевиден: оно хорошо представлено в карпатоукраинских (ku'las'tra, ku'lastr'a, ku'ra[ɟ]stra и др.), словацких ('kurastra, ku'la[ɟ]stra), многих моравских ('kurastva) говорах (ОКДА), в польском же отмечено лишь некоторыми словарями (Клепикова 1974, 111); известно в ряде венгерских говоров ('gula:stra – ОКДА), также gulászta, gurászta и под. (MNyTESz 1,1104 и др.).

Указанное различие в характере восточнороманского влияния в обеих зонах может быть, с одной стороны, следствием длительных восточнороманско-славянских контактов и одновременно наличия нескольких центров относительно слабой, "точечной" иррадиации восточнороманизмов (=дакорумынизмов, но и румынских заимствований из диалектов к югу от Дуная) – на Балканах, а, с другой, – в карпатской зоне – результатом менее продолжительной, но достаточно интенсивной ("фокусированной") экспансии восточнороманского идиома, связанной с пастушескими миграциями в Северных Карпатах и соседних с ними областях в XIV-XVII вв. (так наз. "валашская колонизация").

4. Большая определенность источников восточнороманизмов (= "румынизмов") в карпатославянских диалектах позволяет более полно интерпретировать наблюдаемую, по ОКДА, пространственную дифференциацию зоны по значительному числу лексических признаков. Наличие, наряду с обширными ареалами интересующих нас заимствований, охватывающими диалекты всех карпатославянских языков (с варьированием величины и формы), также ареалов, локализуемых на восточной (карпатоукраинские говоры) или западной (словацкие, моравские, польские говоры) периферии свидетельствуют о сложном – в лингвистическом отношении – характере последствий миграционных передвижений, что может объясняться существованием различных источников заимствований тех или иных лексем и, соответственно, – различием траекторий их распространения в Северных Карпатах (а также и за их пределами) (что служит подтверждением одного из принципов взаимодействия языков на диалектном уровне, сформулированного В.Н.Топоров: "полицентризм источников заимствований соответствует полицентризму результатов рецепции заимствований" (Топоров 47).

Так, репрезентанты рум.ferigă и под. 'папоротник', отмеченные, по ОКДА (5, № 7) только в южнопольских ('fere'čupa), моравских (fere'č'ina), западнословацких ('ferečina) говорах, соотносятся с соответствующими названиями лишь в центральных говорах Румынии (Трансильвания, некоторые р-ны Баната, Олтении) (см.: Клепикова 1998: 235-236); ср. и дериваты, восходящие к рум. (a)dupica 'размельчать' и под. (зафиксированы в говорах запада, центра Румынии, но и в некоторых говорах Р.Молдова) (ОКДА 3, № 13) и представленные на западе карпатской зоны – в отдель-

ных моравских ('domikat 'вид еды'), словацких ('domika:t 'то же') диалектах, редко – в польских (do'm'ikat 'заправка в еду'), а также украинских (в Восточной Словакии – de'mękat 'вид еды') и др. (Клепикова 1998: 240-241).

С другой стороны, многие карпатоукраинские говоры также обнаруживают преимущественную (и даже эксклюзивную) связь с отдельными диалектными зонами на территории Румынии. Например, (1) рум.jęeară (jăgar и др.) 'можежевелик' фиксируется в ряде говоров Трансильвании и имеет прямое продолжение в укр. (гуцул., буков.) 'žeger, ž'c'паруп 'то же'; рум. plai 'дорога: холм' и под. (центральная зона) заимствовано в карпатоукраинские говоры, ср. plai 'то же' (гуцул., буков., но и некоторые бойк.): рум.jig (< слав. žigъ) в значении 'плод бука' также фиксируется в центральной зоне, а как "обратное заимствование" отмечено лишь в карпатоукраинских говорах; (2) рум.pieptar 'безрукавка' известно в центральных и западных говорах Румынии, откуда было заимствовано в украинские, – ср. гуцул., буков. k'ip'tar, p'ek'tar и др.; рум. rizmă 'злоба; зависть' и др. (< греч.λεῖσμα) также отмечается в центре и на западе, вошло в некоторые карпатоукраинские говоры, ср. гуцул., буков. 'p'izma 'то же' (и дериваты) (подробнее: Клепикова 1998, сс.216,234,237,239,241,246).

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) В силу особенностей исторического развития румынского языка появление первых письменных памятников на нем относится лишь к XVI в. (Rosetti 353,356 и др.); о более раннем отражении румынских слов в памятниках письменности на иных языках см., например, в: Mihaila Gh. Les plus anciennes attestations des mots roumains autochtones (X-e siècle – 1521) // Thraco-Dacica. XVII. București, 1996.

(2) Подробнее о влиянии румынского языка, в частности, на балканославянские языки см.: Клепикова 1'.II. К проблеме изучения восточнороманского влияния на языки балканского ареала // Доклады российских ученых. IX конгресс по изучению стран Юго-Восточной Европы. СПб., 2004.

ЛИТЕРАТУРА

БЕР – Български етимологичен речник. 2. София, 1979.

Клепикова 1974 – Клепикова Г.П. Славянская пастушеская терминология. М., 1974.

Клепикова 1982 – Клепикова Г.П. К проблеме стратификации романских заимствований в лексике балканской (resp. балкано-карпатской) зоны // ОЛА.МИ. М., 1982.

Клепикова 1998 – Клепикова Г.П. Изоглоссы румынских заимствований в славянских диалектах карпатского ареала – типологический аспект// ИСД. 5. М., 1998.

МДАБЯ – Малый диалектологический атлас балканских языков. Пробный выпуск. München, 2003.

Младенов – Младенов М. Ареална характеристика на романски елементи в българските диалекти// Die slavischen Sprachen. 12. Salzburg, 1987.

Топоров – Топоров В.Н. О балто-славянской диалектологии// ИСД. 4. М., 1995.

Fischer – Fischer I. Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române. București, 1985.

Haarmann – Haarmann H. Der Einfluss des Lateinischen in Südosteuropa // Handbuch der Südosteuropa-Linguistik. Wiesbaden, 1999.

Meyer-Lübke – Meyer-Lübke W. Romanisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1935.

Mihail – Mihail Z. Aromunische Elemente im Bulgarischen// RESEE. XVII. Bucuresti, 1979.

Rosetti – Rosetti A. Istoria limbii române. IV-VI. București, 1966.

Tagliavini – Tagliavini C. Originile limbilor neolatine. București, 1977.

Ф. Б. Людоговский

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ В ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВЗАИМОВЛИЯНИЯ

1. Взаимоотношения.

1.1. Ретроспектива. Сфера использования церковнославянского (далее – цсл.) языка в последние три столетия постоянно сужалась вследствие экспансии рус. литературного языка.

На рубеже XVII/XVIII вв. цсл. был языком 1) четьяго варианта Св. Писания; 2) патристической литературы; 3) агиографической литературы; 4) церковной проповеди. Иными словами, цсл. язык был языком Св. Писания и Св. Предания. Все светские жанры (декларативно или фактически) находились в ведении рус. языка. Обозначим основные этапы дальнейшего перераспределения сфер использования цсл. и рус. языков.

Св. Писание. До начала XIX в. в России не существовало официально признанного (т. е. благословленного Церковью и санкционированного светской властью) перевода Св. Писания на русский язык. “Между тем к

началу XIX в., – отмечает игумен Иннокентий (Павлов), – светский характер образованности высшего слоя русского общества, который оказался вне сферы церковнославянского языка, создавал определенные затруднения в чтении славянской Библии... С другой стороны, к этому времени русский литературный язык уже достаточно оформился грамматически и стилистически, полностью приняв на себя функции общенационального языка. Русский перевод Священного Писания для частного чтения и изучения (о его церковном употреблении тогда речи никто не вел) стал задачей вполне оправданной” (Иннокентий (Павлов), игумен 1994: 228). Эта задача была отчасти выполнена Российским Библейским Обществом, существовавшим с 1812 по 1826 г. В 1816 г. было принято решение о переводе Св. Писания на русский язык, а к 1824 г. были переведены весь Новый Завет и Псалтирь; было переведено также Пятикнижие, однако тираж его был уничтожен. Официальный перевод возобновился лишь в 1858 г.: в 1876 г. вышел русский перевод всей Библии – так называемый Синодальный перевод.

За последние несколько десятилетий положение Синодального перевода (по сравнению с цсл. текстом) заметно упрочилось: “еще на памяти старшего поколения наших священников в учебной церковной литературе, в семинарских лекциях, в посланиях Патриарха Библия цитировалась исключительно по-славянски; теперь же русский текст стал совершенно обычным и в этой области. Показательно, что эта перемена произошла примерно в 1960-е годы как бы “сама собой”, без какого-либо соборного или синодального постановления” (Десницкий 1998: 221).

Что касается богослужебного использования рус. текста Св. Писания, то в последние годы появилась практика чтения Евангелия на пасхальной литургии на рус. языке наряду с цсл. (а также греческим, латынью, английским и др.)⁶. Здесь нельзя не усмотреть определенного нарушения логики: если греческий текст предназначен для носителей греческого языка, английский – для носителей английского, рус. – русского, то кому тогда адресован цсл.? Это обстоятельство еще раз указывает на зыбкость нынешнего положения цсл. языка (Успенский 2002: 49).

Патристическая и агиографическая литература. Относительно языка патристической и агиографической литературы рассматриваемого периода специальные исследования, насколько известно автору, отсутствуют. В. М. Живов в монографии “Язык и культура в России XVIII в.” указывает, что с 1760-х гг. появляются переводы святоотеческих писаний на русский

⁶ Отметим также укоренившийся во многих храмах обычай читать перед пасхальной службой Деяния апостолов по-русски.

язык (сознательно противопоставленные цсл. переводам). В 1782 г. митрополит Платон (Левшин) издает житие преподобного Сергия Радонежского, написанное на "словено-русском" языке (Живов 1996: 400-402).

В течение XIX в. патристическая литература переводится на рус. язык. Святитель Феофан Затворник (1815–1894) переводит Добротолюбие (которое в последней четверти XVIII в. было переведено на цсл. преподобным Паисием Величковским). Что касается житийной литературы, то новые жития в XIX в. писались, разумеется, на рус. языке; однако в течение XVIII–XIX вв. неоднократно переиздавались Четыи Миней святителя Дмитрия Ростовского, язык которых может быть охарактеризован как стандартный цсл. (впрочем, наблюдается некоторая русификация в сравнении с богослужебными текстами). На рус. язык Четыи Миней были переведены лишь в конце XIX в. В настоящее время переиздан как славянский текст, так и рус. перевод.

Проповедь. Языком проповеди в начале XVIII в. был цсл. В течение столетия совершается переход от стандартного цсл. через гибридный к рус. языку (Живов 1996: 377-397). Впрочем, так как проповедь формально и содержательно связана с богослужением, в ее текст органично включаются цитаты из Священного Писания и службы на цсл. языке, естественно здесь употребление цсл. лексики.

Богослужение. Православное богослужение – единственное культурное пространство, где цсл. (почти) не соседствует с рус. языком. Однако это не значит, что он не испытывает конкуренции со стороны последнего. Дискуссия о целесообразности дальнейшего использования цсл. в богослужении, открывшаяся в начале XX в., возобновилась на исходе столетия⁷. Суть крайних точек зрения очевидна: консерваторы считают необходимым сохранение status quo, радикальные реформаторы призывают к переводу богослужебных текстов на рус. язык. Путь, который хотя бы из практических соображений представляется более реалистичным, – редактирование цсл. текстов с целью прояснения их смысла и определенной русификации – почему-то пользуется минимальной поддержкой.

1.2. Современная ситуация и перспектива. Несмотря на сужение сферы функционирования цсл. языка, в рамках оставшейся в его ведении области он в последние полтора десятилетия усилил свои позиции. Мы имеем в виду прежде всего появление новых богослужебных текстов, служб, молитв и – главным образом – акафистов. Темпы роста корпуса акафистов не могут не обращать на себя внимание. К началу XX в. функционировало порядка 140 акафистов, большая часть которых была написана

в XIX в. На февраль 2003 г. общее количество известных нам цсл.⁸ акафистов составило 416 (Людоговский (2003: 262-316)). В настоящее время (сентябрь 2004 г.) к этому числу прибавилось еще 76 (всего – 492). Вполне вероятно, что к началу 2005 г. эта цифра превысит 500.

Кроме того, наблюдается возврат к традиционной цсл. графике. В советское время большинство цсл. текстов по техническим причинам издавалось в рус. графике (что неизбежно усиливало – хотя бы и на графическом уровне – давление рус. языка на цсл.). Теперь ситуация изменилась, однако до недавнего времени рус. транслитерация по-прежнему преобладала. В последние же пять лет появляется все больше изданий, использующих цсл. графику, и есть все основания предполагать, что этот процесс продолжится и усилится.

Таким образом, мы можем констатировать парадоксальное положение дел⁹: с одной стороны, цсл. язык медленно, но верно сдает свои позиции русскому языку, с другой – налицо небывалый всплеск гимнографического творчества, активизация книгоиздательской деятельности. При благоприятных условиях ситуация может развиваться следующим образом: качественные издания цсл. текстов, несомненно, послужат укреплению авторитета этого языка, а осуществляемые в настоящее время рус. переводы богослужебных текстов постепенно сформируют литургический стиль рус. языка. В дальнейшем можно ожидать параллельного функционирования отредактированных (частично русифицированных) церковнославянских текстов и стилистически выверенных (и неизбежно славянизированных) русских переводов.

⁸ Имеются также акафисты на сербском и английском языках – как переводные (по преимуществу с цсл.), так и оригинальные.

⁹ С точки зрения теории систем, возможно, никакого парадокса здесь нет: вполне вероятно, что цсл. язык как семиотическая система и как составляющая социокультурной системы современного российского общества находится в точке бифуркации, т. е. в такой точке, которая делает последующее состояние системы принципиально непредсказуемым. Иными словами, система находится в состоянии кризиса и ищет путей выхода из этого кризиса. Как всегда в подобных случаях, имеется два варианта: либо система "выздоровливает", т. е. после необходимой перестройки внутренней структуры и определенного приспособления к внешней среде вновь занимает положение динамического равновесия, либо же разрушается. Можно сказать, что парадокс заключается не в состоянии системы, а в нашей неспособности оценить это состояние: если мы действительно имеем дело с точкой бифуркации, то нам это станет известно с достоверностью лишь после прохождения этой точки.

⁷ Весь спектр позиций представлен в сборниках: Язык Церкви. Вып. 1, 2. М., 1997.

1.3. Церковнославянский и русский в языковом сознании православных. Учитывая секулярный характер современного российского общества, следует отметить, что само функционирование цсл. языка актуально лишь для определенной социальной группы – православных (для большинства остальных россиян цсл. ненамного ближе, чем латынь). Упомянутая полемика о цсл. языке показала, что для языкового сознания некоторой части православных носителей русского языка можно предположить сохранение цсл.-русской диглоссии, в то время как в сознании прочих православных эти два языка существуют как отдельные, независимые друг от друга. Казалось бы, естественно отождествить первых с консерваторами, а вторых – с реформаторами. Однако такое решение не представляется единственно верным.

Дело в том, что общим местом в декларациях консерваторов является усвоение цсл. языку статуса языка священного, сакрального. Русский же язык, напротив, мыслится как профанный, как язык, на котором “говорят на базаре”. При таком подходе, который вряд ли можно признать вполне традиционным для православия, между цсл. и рус. языками вырывается пропасть. Они не мыслятся более как две разновидности, две ипостаси одного языка (хотя это нередко декларируется), но представляют собой два различных идиома, между которыми нет переходной зоны.

С другой стороны, умеренные реформаторы, ратующие за русификацию цсл. языка, могут претендовать на звание продолжателей древнерусской традиции. В самом деле, книжная справа (а именно об этом, по сути дела, идет речь) вполне традиционна для Древней Руси. Стремление приблизить цсл. тексты к рус. языку (неоднократно получавшее реализацию в прошлом) свидетельствует о наличии тесной связи между рус. и цсл. в языковом сознании; сохраняющаяся же при этом дистанция дает основание предположить, что для умеренных реформаторов отношения цсл. и рус. языков во многом сходны с ситуацией диглоссии.

Наконец, радикальные реформаторы, считающие необходимым полный отказ от цсл. языка в пользу рус., по своему языковому сознанию, по всей видимости, не отличаются от людей, далеких от Церкви¹⁰. Цсл. язык для них является культурно чуждым – естественным образом возникает стремление молиться на “своем” языке.

Таким образом, противоположности сходятся: консерваторы и радикальные реформаторы разводят цсл. и рус. языки, отказывая одному из них в способности быть языком богослужения, в то время как умеренные ре-

¹⁰ Подчеркнем, что речь идет именно о языковом сознании, а не о “степени воцерковленности” и проч.

форматоры сближают два эти языка, подчеркивая наличие между ними тесных связей.

2. Взаимовлияния.

2.1. Влияние русского на церковнославянский. Влияние рус. языка на создаваемые в наши дни тексты (особенно акафисты) очевидно. Оно проявляется в области как лексики, так и грамматики. Приведем примеры. “В лета древния Промыслом Божиим установленныя на спасение и просвещение верою Христовою людей Приазовья, принесена была икона Твоя, Богомати, во святыи град Мариуполь <...>” (Акафист Мариупольской иконе Божией Матери. Икос 1)¹¹. Здесь можно отметить лексический русизм “установленныя” (вместо “положенная”), грамматический русизм “принесена была” (вместо “принесена бысть”), а также влияние рус. языка на уровне орфографии (например, употребление разделительного мягкого знака).

Упомянем также один весьма примечательный случай влияния рус. языка. Несколько лет назад был составлен “Чин освящения самолета” (см., например: Требник 2001: 620 – 624). Правда, слово “самолет” в тексте встречается лишь дважды: в заглавии и в формуле освящения: “Благословляется и освящается самолет сей благодатию Пресвятаго Духа, окроплением воды сея священныя, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь” (Требник 2001: 624). Однако интересно, что слово это, воспринимающееся как яркий русизм, в общем и целом выглядит вполне по-церковнославянски.

2.2. Влияние церковнославянского на русский. Проиллюстрируем теперь случаи обратного влияния – влияния цсл. языка на речь (устную и письменную) православных носителей рус. языка. Воздействие цсл. языка на рус. реализуется по преимуществу опять-таки на уровне лексики (и фразеологии), а также отчасти морфологии. В частности, достаточно красноречиво использование звательной формы в функции именительного и других падежей. Приведем несколько примеров. Слово “владыка” в значении “архиерей” нередко пишется “владыко” (на произвольном тексте. Аналогично, причем не в ситуации обращения, а в повествовательном тексте. Аналогично используется форма “отче” (в смысле “священник”): “Отче уже пришел?”. Ср. также употребление этой формы по отношению к преподобному Сергию Радонежскому: “Поеду к отче Сергию”. Отметим, что замена “отче” на “отцу” придала бы фразе иной смысл: “к отцу Сергию” – значит “к некоему ныне живущему священнику (дьякону, иеромонаху и т. д.) Сергию”. Сюда же примыкает этикетная формула “Спаси вас (тебя) Господи”, часто сворачиваемая до “Спаси Господи”. Полный вариант данной форму-

¹¹ См.: http://akafist.narod.ru/list_2004.html.

лы не оставляет сомнений, что "Господи" находится в позиции подлежащего. выраженного именительным падежом.

ЛИТЕРАТУРА

Десницкий 1998 – Десницкий А. С. Богослужебный язык Российской церкви // Христианос. VII. Рига, 1998.

Живов 1996 – Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.

Иннокентий (Павлов), игумен 1994 – Иннокентий (Павлов), игумен. О русском переводе Нового завета // Евангелие от Матфея на греческом, церковнославянском, латинском и русском языках с историко-текстологическими приложениями. М., 1994.

Людоговский 2003 – Людоговский Ф. Б. Состав, структура и функционирование корпуса современных церковнославянских богослужебных текстов / Дисс. ... к.ф.н. М., 2003.

Требник 2001 – Требник. : Изд-во Сретенского монастыря, М., 2001.

Успенский 2002 – Успенский Б. А. Язык богослужения и проблема конвенциональности знака // Язык Церкви. Материалы международной богословской конференции. Москва, 22–24 сентября 1998 г. М., 2002.

Ф.Р. Минлос

ПАРНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ В КОНТЕКСТЕ ЯВЛЕНИЯ РЕДУПЛИКАЦИИ

Парными существительными здесь называются парные слова, относящиеся к грамматическому классу существительных. Их выделение среди остальных парных слов связано, в частности, с задуманным сопоставлением: дело в том, что редупликации в восточнославянских языках подвергаются прежде всего именно существительные.

Есть несколько разных причин, побуждающих сопоставить парные слова с редупликацией. Вот наиболее очевидные:

1. Наличие общих фонетических закономерностей. Например, характерные рифмованные парные слова, в которых второй элемент начинается с губного, чаще всего с [м] (укр. *кошчи-мошчи*, рус. *калина-малина*) явно напоминают редупликативные формы (ср. белор. *шень-пень*, укр. *хвиги-миги*).

2. Сходные социолингвистические характеристики: в восточнославянских языках редупликация и парные слова характерны скорее не для нормативного языка, а для фольклора и разговорной речи.

3. Наличие промежуточных случаев. Граница между редупликацией и сложением не может быть вполне четкой, потому что она связана с таким сложным понятием, как мотивированность (членимость), которая обычно допускает разные промежуточные случаи. Промежуточные случаи можно считать особым родом сложениями, в которых один из элементов так или иначе теряет свою независимость и полнозначность, становится связанным. Связанные элементы сочетаний можно расклассифицировать на следующие типы:

3.1. Одно из слов не используется в том идиоме, в котором используется парное слово, но имеет диалектные или иноязычные соответствия (например, *юдо* в русском *чудо-юдо*, сопоставимое с болг. *юда* 'русалка, волшебница'). Подобные случаи хорошо документированы в тюркских языках, ср. например (Тенишев 1976: 116). Рамстед приводит несколько примеров такого рода, в частности следующий: в монгольском и бурятском для понятия 'огонь' используется слово *gal*, но в поэтическом языке употребляется *gal xil*, второй компонент которого может быть протимологизирован лишь при сопоставлении с тюрк. *kül* 'пепел' (Рамстед 1957: 222). В коми-зырянском сочетании *кõмкот* 'обувь' (выступает в составе парного слова *кõмкот-платьё* 'одежда и обувь') второй элемент в современном языке употребляется лишь в обрядовых текстах применительно к погребальной обуви (имея при этом хорошие этимологические параллели). (Лыткин, Гуляев 1970). Иногда описанная выше ситуация складывается не в языке, а лишь в отдельном типе текстов: например, диалектное слово *мурава* в фольклоре обычно встречается в сочетании *трава-мурава* (аналогичным образом, *племя* в русском фольклоре встречается исключительно в сочетании *род-племя* (Евгеньсва 1963: 268), а *разум* в свадебных причитаниях - только в сочетании *ум-разум* (Никитина 1999: 301). Второе слово может быть просто менее употребительным синонимом: рус. *надоела*, *напроскуцила*, укр. *що ж вони роблять, що ж вони діють?* Некоторая ущербность второго элемента сближает парные сочетания с правой редупликацией.

3.2. Одно из слов используется как в большей или меньшей степени грамматикализованная редупликативная копия, но содержащее отдельный корень (рус. *улица-фигулица*, белор. диал. *капу́ста-хондзю́ста*). Что касается туrowsкого говора, то у нас нет данных о продуктивности рассмотренного образования, есть лишь один пример (*що ты варыш, капусту-хондзюсту або крышаны-хондзяны?*) (Кривіцкі, Цыхун, Яшкін 5:251), мотивированный словом *хондзя* 'малярия'. Вероятно, грамматикализованные модели

вроде русской *фиг*-редупликации могут развиваться из случаев вроде *совесть, любовесть* (см. ниже) или *капуста-хондзюста*.

3.3. Одно из слов преобразовано в рифму к другому в результате уподобления фонетического (*няньки-мамки* > *няньки-маньки*) или морфологического (*шалить и баловать* > *шаловать и баловать*). В довольно распространенном случае слово получает для рифмы не морфему, а морфологически бессмысленный формант, осколок слова (*по совести, по любов.ест.и*).

Рассмотрим один пример фонетического уподобления подробно. В русском фольклоре отмечено рифмованное сочетание *няньки-маньки*, вторая часть которого является словом *мамки*, фонетически модифицированным под влиянием первой части. В частности, это сочетание обнаруживается в исторической песне о князе Михайло: *И со нянькам, и со Манькам, // И со верным служанкам ...* (Соколовы, №8, №9); форма *няньки-маньки* также несколько раз встречается в сказке про Царевну-лягушку, записанной Афанасьевым в Шадринском уезде (Афанасьев 1957, № 267). Несмотря на лаконичный комментарий А.Н. Афанасьевым к этому сочетанию ("мамки"), в целом ряде работ оно рассматривается как редупликация. В первых статьях, посвященных редупликации ("искусственному образованию парных слов") в русском языке (Джафар 1900 и Крымский 1928), объяснение *маньки* из *мамки* приравнивалось к народной этимологии; Н. Н. Дурново тоже вслед за М. Джафаром относит *няньки-маньки* к сочетаниям с "искусственно образованным парным словом", (Дурново 1902: 267) Сочетание *няньки-мамки* в этих статьях не упоминается, однако оно как раз и должно было бы демонстрировать результат переосмысления редупликации (например, *гусли-мысли* объясняются Н. Н. Дурново как сочетание, возникшее "путем переосмысления" из отмеченного наряду с ним *гусли-мусли*). Далес, Ю. Плэн даже совершил подмену и привел сомнительную на русский слух форму *няньки-мяньки* (Přáhn 1987), которую повторил В.И. Беликов (Беликов 1990).

В сочетании *няньки & мамки* представлено какое-то из устаревших и диалектных значений слова *мамка* - "кормилица, женщина, кормящая грудью не свое дитя", "старшая няня, род надзирательницы при малых детях" (Даль III: 302). Впрочем, судя по единственному числу слова *мамка* в укр. *няньком і мамков*, т.е. "с няньками и мамкою" (Чебанюк 1987: 327), оно могло сохранять значение "мать" и в этом сочетании. Особенно часто фиксируется сочетание *нянюшки & мамушки*.

Итак, *няньки-маньки* относятся к тому типу рифмованных сочетаний который точно обозначен в статье Н.Н. Дурново как смешение двух основных моделей (редупликации и сложения, согласно современной терминологии): "существующий синоним к известному слову несколько искажается

для большего сходства". Возможно, какую-то роль здесь сыграло и наличие уменьшительной формы распространенного имени *Манька* (ср. использование заглавной буквы в записи братьев Соколовых - *и со нянькам, и со Манькам*, (Соколовы, №8).

Можно предположить, что в языках, для которых основной является правая редупликация, более обычное направление влияния в парных сочетаниях - слева направо. Конечно, есть и довольно ясные контрпримеры, например, фонетическая ассимиляция в белор. *с кашчэй, с машчэй* (гомель., Полес. заговоры, №175); укр. *кошчи-мошчи* (житомир., Полес. заговоры, №3), где *кошчи* < *кости*, ср. то же сочетание без ассимиляции: белор. *с косцэй, из мошэй, з рижого мозгу* (гомель., Полес. заговоры, №187); укр. *из костей, из моцэй* (житомир., Полес. заговоры, №144). Однако на данный момент собрано недостаточно материала для серьезного обсуждения этой гипотезы.

ЛИТЕРАТУРА

Афанасьев 1957 – Русские народные сказки А.Н. Афанасьева. Т. 1-3. М., 1957.

Беликов 1990 – Беликов В.И. Продуктивная модель повтора в русском языке. Материал для обсуждения // *Russian Linguistics*. 1990. Vol 14.

Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля, В 4 т.т. – СПб., М., 1880.

Джафар 1900 – Джафар М. Об искусственном образовании парных слов (Reimwörter) // *Янзук Н.Я. (ред.) Юбилейный сборник в честь В.Ф. Миллера*, изданный его друзьями и почитателями. М., 1900.

Дурново 1902 – Дурново Н.Н. Мелкие заметки по русской диалектологии // *Журнал министерства народного просвещения*. 1902. VI.

Евгеньева 1963 – Евгеньева А.П. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII-XX в.в. М.-Л., 1963.

Крымский 1928 – Крымский А.Е. Калач-малач, кішміш-мішміш // *Крымский А.Е. Розвідки, статті та замітки*. Ки'в, 1928.

Кривіцкі, Цыхун, Яшкін – *Тураўскі слоўнік*. Сост. А.А.Кривіцкі, Г.А.Цыхун, І.Я.Яшкін. Т. 1-5. Мінск, 1982-1987.

Лыткин, Гуляев 1970 – Лыткин В.И., Гуляев Е.С. Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970.

Никитина 1999 – Никитина С.Е. Об уме и разуме (на материале русских народно-поэтических текстов) // *Е.Е. Левкиевская и др. (ред.) Славянские этюды*. Сборник к юбилею С.М. Толстой. М., 1999.

Полес. заговори – Полесские заговоры (в записях 1970-1990-х г.г.) / Сост. Т.А. Агапкина, Е.Е. Левкиевская и А.Л. Топорков. М., 2003.

Рамстед 1957 – Рамстед Г.И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957.

Соколовы – Сказки и песни Белозерского края / Сборник Б. и Ю. Соколовых. Т.2. СПб, 1999.

Тенишев 1976 – Тенишев Э.Р. Строй саларского языка. М., 1976.

Чебанюк 1987 – Календарно-обрядові пісні / Сост. О.Ю. Чебанюк. Київ, 1987.

Plähn 1987 – Plähn J. Хуйня-муйня и тому подобное // *Russian linguistics*. 1987. Vol.11.

Г.П. Нецименко

ПРОЦЕССЫ ВНУТРИЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АДАПТАЦИЮ ЗАИМСТВОВАНИЙ

В современной языковой ситуации проблема заимствований принадлежит к числу наиболее дискутируемых вопросов, в равной степени волнующих как специалистов-языковедов, так и носителей и пользователей этнического языка. Совершенно ясно, что ни одна общность, ни один язык не может существовать в полной изоляции от внешнего мира. Это касается как ранних этапов исторического развития этноса, так и его современного существования.

Проблема, однако, заключается в том, нужно ли регулировать приток заимствований и в какой степени? Это особенно важно в условиях действия тенденций глобализации и интеграции, которые сопровождаются значительным притоком англицизмов во всех сферах функционирования этнического языка: в специальной речи, в средствах массовой коммуникации и т.д. Особый интерес для нас представляет проблема влияния заимствований на системные языковые закономерности, их значимость для успешности медиальной коммуникации, в сфере профессионального общения.

Внутренний конфликт заключается в том, что, с одной стороны, использование заимствований облегчает доступ к современным достижениям в области науки, техники, культуры и пр.; с другой стороны, оно существенно затрудняет общезнающую коммуникацию, создает коммуникативные барьеры, ведет к потере информации. Усиленный приток заимствований может обуславливать изменение внутренних закономерностей и пропорций языка-рецептора.

Устные СМИ безусловно имеют важные преимущества перед СМИ печатными, поскольку транслируемая с их помощью информация доступнее для восприятия, она не требует от массовой аудитории ни специального времени, ни особых денежных затрат, ни профессиональной подготовки. Наконец, они имеют более широкий диапазон распространения информации. Вместе с тем у них есть и своя специфика, которой не следует пренебрегать.

К числу важных особенностей устных медиальных средств, на наш взгляд, относится возможность **спломинутного** коммуникативного контакта с массовым адресатом, т.е. передаваемая информация воспринимается сразу, «с ходу». В отличие от письменного текста повторное востребование адресатом текста устного (для того, чтобы вникнуть в смысл сказанного, обратиться, наконец, к словарям, справочникам и пр.), как правило, не возможно – за исключением тех случаев, когда один и тот же текст по каким-то причинам повторяется или же воспроизводится в записи.

Учитывая это, вербальное оформление текста должно быть максимально сближено с узусом предполагаемого адресата, с его языковой компетенцией. Злоупотребление профессиональной терминологией или же заимствованиями здесь попросту неуместно.

В этой связи особую остроту приобретает проблема заимствований. Массовый приток иностранных слов, прежде всего модных англицизмов, ставший одной из сопутствующих примет культурно-экономической интеграции, является порой настоящим бедствием.

Уточним, что мы не призываем к искоренению заимствований вообще – зачастую их использование обуславливается отсутствием соответствующих эквивалентов в родном языке, потребностями стилистического варьирования, аутентичного обозначения неизвестных реалий, контактными или же опосредованным взаимодействием этнических языков и пр. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что заимствования могут стимулировать словопроизводительную активность воспринимающего языка. Наконец, многие заимствования в конечном итоге адаптируются, врастают в ткань языка-реципиента, в его фонетическую, словоизменительную и словообразовательную системы. Чаще и легче всего это происходит с близкородственными языками.

Невозможно, однако, согласиться с неоправданно частым употреблением иностранных слов, особенно модных ныне англицизмов. Зачастую это приводит к смысловой неясности; ср., например: *Название помещения – арт-клуб «Ні, наша Украина».* (Что значит «Ні», не знает никто. Кто-то переводит с английского: «здравствуй», кто-то с украинского: «нет». Кому как нравится. Вроде как фишка). Новая газета, 2002, рецензия.

Нередко русские слова являются лишь одиночными вкраплениями в текст, языковая идентификация которого, образно говоря, затруднительна: ср.: *говоря пиар-языком, какой у тебя «месседж» к публике?* Новая газета, 2002; *Каас выпустила саундтрек с кавер-версиями произведений Эдит Пиаф*. Там же, 2002; *Спринтеры начали кататься на клябах (слэнг-скейтах)*. Там же, 1997; *мезарекорд лейблы работают с уже кем-то сделанными артистами*. Там же, 1997; *крутится колесо по промоушену фильмов*. Там же, 1999; *Люди, делают себе промоуши*. Там же, 1999; ср. также: *промоуши патриотизма будет осуществляться в средствах массовой информации*. Эхо Москвы, 2002. Как видим, отсутствует даже единообразие в воспроизведении одного и того же заимствования.

Негативные последствия использования неосвоенных заимствований особенно очевидны в устных СМИ, поскольку слушатель при мгновенном восприятии текста может просто не понять смысл, особенно когда слово имеет не свойственную русскому языку огласовку (например, скопление согласных в его исходе): *никакого экина*. Эхо Москвы, 2000, кинокритика. Ср. тот же *промоуши, интернейшил* и т.д.

Неуместным представляется «повальное» увлечение использованием – к месту и не к месту – англицизма *бренд* ‘торговая марка’, а также его производных: *Презентация серии товаров для новорожденных, брендируемая как «Физиологический проект «СНССО», состоялась 4 ноября в столичном ресторане «Джоконда»*. Фармацевтический вестник, 2002 (ср. в разговорной речи – *брендóвый*); *команда (футболистов. – Г.Н.) сменила свой бренд на «Торпедо-металлург»*. Эхо Москвы, 2003, спортивный комментарий; *Единственный раскрученный бренд наших политиков – чеченская кампания*. Новая газета, 2002, подзаголовок статьи, чем стала «Чайка» для основной сцены. – а именно собственным *брендом*. Там же, 2002; *Новую Земфиру не нужно долго расшифровывать. Она - давно уже бренд*. Там же, 2002, рецензия и т.д.

Встречаются и случаи, когда ведущие попросту копируют иноязычную конструкцию: *Мать Бен Ладена получила недавно телефонный звонок*. Эхо Москвы, 2002, Новости. Вряд ли можно признать удачным употребление заимствований в ином, не традиционном для носителя современного русского языка значении (*шокировать* ‘приятно удивить’; *монстр* ‘великий, замечательный, специалист экстра класса’); ср. также в тексте рекламы: *интерьер выполнен из самых престижных материалов*. Эхо Москвы, 2003.

Широко распространены ошибки в использовании заимствований; ср.: *дело в менталитете сознания*. Эхо Москвы, 1999; *драться на эспандерах*

(*вм. эспандонах. – Г.Н.*). Новая газета, 1999, речь автора: *высоких гостей возили на терминальные источники*. Там же, 1999, речь автора и мн. др.

Бурную полемику в журналистских кругах вызвал разработанный закон о языке, особенно в части, касающейся употребления заимствований. Несмотря на то, что он был подготовлен, на наш взгляд, не вполне профессионально, не обсуждался, повидимому, и в лингвистической среде, тем не менее некоторые его рекомендации, очевидно, были бы все же полезны. Впрочем, решение проблемы – все же не в запретительных мерах, а в целенаправленном языковом воспитании, поскольку в большинстве случаев речь идет об элементарной речевой неряшливости и языковой некомпетентности.

Сам факт перенасыщения русской литературной речи англицизмами (равно как и любого другого языка), отнюдь не безобиден. Это не только затрудняет коммуникацию, но и, как подтверждает языковой материал, нарушает *внутренние* закономерности и естественные пропорции воспринимающего языка.

Под влиянием языков, с которыми язык-реципиент находится в контакте, прямом или опосредованном, происходит не только пополнение, «подпитка» лексического инвентаря, изменения касаются и других уровней языковой системы, причем характер этих изменений во многом определяется типологическими параметрами взаимодействующих языков. Заимствования из близкородственных языков более органично входят в структуру воспринимающего языка, они как бы «растворяются» в нем, получая порой новое мотивационное «прочтение», с опорой на новые, благоприобретенные словопроизводственные взаимосвязи. При контакте генетически не родственных языков, усложняется не только процедура освоения заимствований, могут затрагиваться и привычные внутриязыковые закономерности и пропорции. Так, на словообразовательном уровне это может приводить к значительному возрастанию удельного веса непроизводных, т.е. не мотивированных, слов, появлению не типичных для языка-реципиента способов и схем словообразования. Наличие специфических комбинаторных ситуаций в исходе ряда заимствований, являющихся не привычными для артикуляционного аппарата носителей воспринимающего языка, не только создает произносительные трудности, но и может препятствовать присоединению словоизменяемых и словообразовательных формантов и т.п.

В адаптации заимствований любого генезиса, как правило, участвуют продуктивные форманты языка-реципиента, в силу чего исследователь получает возможность наблюдать в рамках синхронного среза языковые тенденции, которые в иных условиях могут быть выявлены лишь в ходе трудоемкого анализа материала, иногда и с привлечением данных диахронии.

Ценные сведения могут быть получены и при изучении конкуренции между отечественными и заимствованными формантами. Ср., например, пересечение заимствованного *-man* и освоенного *-ista* у одной и той же производящей основы (*jazzman* и *jazzista*) или же адаптацию в разговорной речи заимствованного *video* как *видак*, *видик*, активное использование суффикса *-щик* у заимствованных основ (причем иногда здесь также наблюдается конкуренция формантов; ср.: *рекламист* и *рекламщик*; *синхронист* и *синхронщик*; *компьютерист* и *компьютерщик* и пр.).

Переизбыток заимствований, тем более при наличии эквивалентных обозначений родного языка, зачастую воспринимается отрицательно не только потому, что речь идет о «вторжении» иной культурно-языковой стихии в живую ткань языка-реципиента, в его структуру и функционирование. Не менее важным является и потенциально возможное возникновение коммуникативного дискомфорта, поскольку для адекватного восприятия передаваемой информации адресат должен обладать соответствующим уровнем языковой (а также культурной) компетенции, иначе затрудняется выполнение языком своей важнейшей функции – служить средством общезначимой коммуникации. Введение же в текст разъясняющих комментариев делает его менее компактным, что противоречит тенденции языковой экономии, а также замедляет скорость распространения информации. В преобладающих ныне устных СМИ пространственные комментарии вообще невозможны, в результате чего от информационного потока либо практически «отрезаются» большие пласты населения, не обладающие соответствующей языковой, а также культурной компетенцией, либо информация воспринимается ими искаженно.

Е.И. Якушкина

БАЛКАНОСЛАВЯНСКАЯ СЕМАНТИКА *судьбы* В СВЕТЕ СЛАВЯНО-ТУРЕЦКИХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

Несмотря на значительную, казалось бы, исчерпывающую, изученность (инвентаризация, лексикографическая обработка, этимологизация, тематическая классификация, ареалогическая интерпретация) функционирования турецких по происхождению элементов в лексико-семантических системах балканославянских говоров, некоторые интереснейшие явления семантико-культурного характера, связанные с проникновением турецких слов в славянские диалекты, до сих пор остаются неосвоенными. Одно из таких любопытных явлений – это усвоение турецких лексем в качестве имен важ-

нейших для южных славян культурных концептов, укоренных в общеславянской традиции и имеющих целый ряд автохтонных (праславянских или собственно южнославянских) обозначений, среди которых прежде всего выделяются концепты добра (Якушкина 2004) и судьбы, на котором мы остановимся в данной работе.

Концепт судьбы в южнославянских культурно-языковых диалектах складывается из большого диапазона смыслов и мотивов и выражается, с одной стороны, обширным лексическим полем, а с другой – колоссальным корпусом текстов различных фольклорных жанров. Славянскую лексическую парадигму судьбы в говорах сербохорватского, македонского и болгарского языков составляют продолжения праслав. **(vь)strĕtja* ‘встреча’ (с.-х. *срѣћа*, макед. *срѣќа*, болг. *срѣца*), **čьstь* ‘часть, доля’ (болг. *чест*), **děl-* ‘делить’ (болг. *делба*), **sqd-* ‘судить’ (с.-х. *судба*, *судбина*), **rĕk-* ‘говорить’ (с.-х. *нарѣк*). Семантическое поле ю.-слав. **srĕtja* – наиболее распространенного среди данных наименований – включает такие значения, как: 1) ‘судьба, доля, то, что человеку суждено, предопределено (от рождения и по стечению обстоятельств)’, аксиологическое содержание слова в данном значении амбивалентно, оно сочетается и, как правило, уточняется определениями с семантикой ‘хороший’ – ‘плохой’: макед. *арна* и *лоша срѣќа*, болг. *добра* и *зла срѣца*, с.-х. *добра*, *срѣћна*, *зла*, *(х)уда*, *тешка*, *зла срѣћа* ‘хорошая, счастливая, плохая, тяжелая, злая доля’ – *има једна глува девојка... она има бољу срѣћу но и аџија* ‘есть тут одна глухая девушка, у нее доля лучше, чем даже у господ’ (Шаулић 1922: 179) и *Да Бог да домаћину у свачему срѣћу добру, сретну и берихетну, пуну и богату* ‘Дай Бог хозяину во всем доли хорошей, счастливой и благополучной, полной и богатой’ (Iveković–Broz, sv *sreća*), болг. *Такава ми была срѣца-та* ‘Так мне суждено’ (Геров, sv *срѣца*); 2) ‘сила, управляющая человеческой жизнью (внешняя или имманентная человеку)’: *Однесе ме Бог и срѣћа Јову на дворе* (Iveković–Broz, sv *sreća*), *панела га срѣћа* ‘принесло его’: 3) ‘счастье (благополучие)’: с.-х. *Бог оаде срѣћу и напредак* ‘Бог дал счастье и благополучие, удачу’ (Самарџија 1995: 159) и ‘удача’: с.-х. *имаши срѣћу* ‘тебе повезло’. Другие названные лексемы реализуют отдельные фрагменты этого семантического спектра (в целом синкретичного и с трудом поддающегося членению). Исключение составляют, пожалуй, лишь отдельные слова, мотивированные глаголом с семантикой определения судьбы, типа с.-х. *судба*, которые иногда (достаточно редко) встречаются в значении фатума, ср. с.-х. *Судба шћаше да се на ђувегији, деветом колену освети за неправде и злости предкове* ‘Судьбе было угодно в лице жениха, девятого колена, отомстить за несправду и злобу его предков’ (Самарџија 1995: 159).

Наряду с автохтонными славянскими наименованиями судьбы, в балканославянских диалектах (с разной степенью географической распространенности и употребительности) для обозначения судьбы и счастья используется ряд турцизмов: с.-х., макед., болг. *кисмет*, *касмет*, *късмет* 'доля, судьба' (от тур. *kismet* 'счастье'); ю.-серб., макед. *аир* 'добро, счастье, благополучие' (от тур. *hacir* 'добро'), семантику счастливой доли данная лексема как правило выражает в благопожеланиях и проклятиях, где она весьма частотна: ю.-серб. *аир да немаш!* (Форски, sv *аир*), макед. *аир да не видиш!* (РМНП, sv *аир*) 'чтобы тебе не сопутствовала удача!'; черног. *бат* (Благојевић 1984: 220), *бафт*, *батунa* (Дучић 1931: 307) 'счастье, благополучие' (от тур. *baht* 'счастье'); герцег., черног., босн. *нафака*, *навака* 'доля, судьба' (от тур. *nafakat* 'расход, содержание, кормление семьи', для восстановления цепочки семантического развития существенно толкование В.Караджича *нафака* 'то, что человеку суждено съесть на этом свете' (Караџић, sv *нафака*): *Нека је да Бог да, да им буде нафака као у мене ноћас* 'Дай Бог, чтобы у них была такая доля, как у меня сегодняшней ночью' (Диздар 1952: 226), 'счастье, благополучие' (РСАНУ, sv *нафака*; Шаулић 1922: 82; Iveković–Broz, sv *nafaka*); с.-х. *берућет*, макед. *берикет* 'счастье, благополучие' (от тур. *beri* 'поле') (Караџић; Митровић 1984, sv *берућет*), с.-х. *талих*, *талија* 'счастливая доля, удача', 'судьба: то, что суждено; сила, управляющая жизнью человека' (от тур. *talih* 'судьба, рок'): *Није имала талиха, и остаде рано удовица с петоро мале ђеце* 'Ей не повезло/ плохая у нее была доля, и осталась она рано вдовой с пятью маленькими детьми' (Ћупићи 1997: 480); *Ако му је... већ била таква талија да га море удави, бар да га оно мртво врати матери земљи* 'Если уж ему было на роду написано утонуть в море, пусть бы оно по крайней мере вернуло его матери-земле' (Iveković–Broz, sv *talija*); *талија ме тако потерала* 'судьба так сложилась, так распорядилась' (Филиповић 1958: 286).

Насколько можно судить по типовым контекстам их функционирования, данные лексемы реализуют значения того же семантического спектра, что и исконные южнославянские слова, и имеют сходную дистрибуцию: с.-х. *имати вељи кисмет* 'повезти' (РСАНУ, sv *кисмет*), *имати/немати талију*, болг. *имам/нямam късмет* 'быть удачливым/неудачливым; мне везет/ не везет' (ср. *имати срећу*), болг. *кога Господ дава късмет, не пита чий си сын* 'когда Господь дает счастье (судьбу), не спрашивает, чей ты сын' (Геров, sv *късмет*) (ср. с.-х. *давати*, *делити срећу*); *рђаве сам талије* 'мне не везет', букв. 'у меня плохая доля, у меня нет счастья' (Караџић); с.-х. *како коме срећа пође и талија* 'как кому повезет', *на моју талију* 'на мое счастье', *талија ме тако потерала* 'судьба так сложилась' (Филиповић 1958: 286) (ср. *на моју срећу*, *срећа ме тако потерала*); *све ће буде ако је к'смет*

'все произойдет, если это суждено' (Митровић, sv *к'смет*), *такав је кисмет так суждено* (ср. болг. *такъв му был късмет-тъ* (Геров, sv *късмет*)) (ср. с.-х. *ако је суђено, тако је суђено*, болг. *такава ми была срецата* (Геров, sv *среца*)); *предати се кисмету* 'предаться судьбе' (РСАНУ) (ср. с.-х. *предати се судбини*). Сходный характер носит не только языковая сочетаемость славянских и турецких по происхождению слов, но и их текстовая дистрибуция – от паремий (болг. *роди мя мамо с късмет на ме врли на купице* 'роди меня, мама, счастливым, и брось меня в навоз' (Геров, sv *късмет*) (ср. с.-х. *роди ме мајко срећна на ме на буџиште баци*), с.-х. *аирлија!* 'удачи!' (Митровић, sv *аирлија*) (ср. с.-х. *нека је са срећом!* болг. *добра среца! честита му е годината!* (Геров, sv *среца, честит*)), *Бог ће њему и његовој деци дати века сретна, берућетна и велика* (Самарџија 1995: 159)) до сказок и быличек о доле-судьбе (ср. запись из Лесковца о неудачливых и удачливых братьях, где свойство последних именуется *срећа* (СНПЛ, 218–219) и из Баната, где оно же именуется *талија* (Филиповић 1958: 286)).

Однако, слова заимствованной лексической парадигмы, по сравнению с полисемантическим (и при этом семантически синкретичным) ⁺*strètja*, в значительной степени семантически специализированы. Некоторые культурные значения, которые хотя и могут быть выражены словом ⁺*strètja* и его производными, но принадлежат к периферии его семантического поля: их реализация требует текстовой поддержки и нередко жанрово обусловлена. В турцизмах, которые семантически устроены гораздо проще, именно эти специфические значения становятся ядерными.

Несколько неопределенная идея хорошей доли, заложенная в ⁺*strètja* (по степени абстрактности содержания приближающаяся к русск. *счастье*) в лексеме *аир* реализуется в значении 'прибыток, успех в деле' (приближается к русск. *спорина* в примере *спорина в квашню!*), развитие которого зависит от природы участников предприятия и всех присутствующих, которые могут иметь способность приносить *аир* или лишать его: *чим ја дођем одма аир имаш* 'как только я приду, у тебя сразу дела идут хорошо, работа спорится'; *од пијаницу ни своја кућа аир нема* 'от пьяницы и собственному дому прибýtка нет' (Митровић, sv *аир*), *нека ви је аирлија работа, људи!* 'удачи вам в работе!' (Митровић, sv *аирлија*). Свойство человека (животного, предмета) положительно или отрицательно влиять своим присутствием на ход дел, хотя и может выражаться производными слова ⁺*strètja* (ср. *нафакали и срећан пас* букв. 'счастливая' собака', о собаке, которая приносила удачу (Чајкановић 1927: 187)), однако по преимуществу выражается заимствованной лексической парадигмой и прежде всего дериватами тур. *баht*: с.-х. *батли*, *батлија* (РСАНУ), макед. *батлија* (РМНП) 'счастливый, приносящий удачу': *бахтли очи* 'добрый, "не глазливый" глаз' (Ђорђевић

1938: 18), *батли муштерија* 'покупатель, у которого легкая рука' (РСАНУ, sv *батли*). В Тимоке, чтобы на Рождество первым в дом не зашел человек, который *нема среће*, обычно заранее приглашают *батлију*. По представлениям сербов, свойства первого рождественского гостя впоследствии становятся очевидны по тому, как идет в новом году хозяйство: если куры хорошо несутся, значит, гость был *батлија*. В Хомоле охотники считают добрым предзнаменованием, если по пути встретят цыганку, потому что цыгане *батлије* (РСАНУ, sv *батлија*). С этой же семантикой употребляются с.-х. *таличан*, *талишан* (Филиповић, 208), *нафакали* (Чажкановић, 187). Противоположный смысл в сербских говорах выражается словом *баксуз* 'лицо, которому сопутствуют неудачи и которое приносит их другим' (от тур. *bahtsiz* 'несчастный'): *пусти баксуза у кућу па ће ти све наопако ићи* 'пусти баксуза в дом и у тебя все пойдет шыворот-навыворот' (РСАНУ, sv *баксуз*). Так, в Черногории верят, что "није срећно и навачно, если в дом войдет *баксус*, который и при встрече на дороге *неталишан*", а в Крушевце считают, что если первым лавку посетит человек злонамеренный или *баксус*, тогда в этот день не будет выручки (РСАНУ, sv *баксуз*). Эти же слова обозначают свойство человека иметь или не иметь успех: по свидетельству М.Филиповића, в Таково верят, что "некоторые люди рождаются *сретни*, *батли* или *са талијом* (*талични*), а другие *баксузи*: такой человек работает, трудится, но у него ничего не получается, хозяйство разваливается, сам он сломает ногу, сопьется" (Филиповић 1972: 208). Ср.: *био сам ти... батли од јутра: крмача ми опрасила седморо* 'мне с утра везет, у меня свинья семерых поросят принесла', *батли човеку и стрљенови мед граде* 'удачливому человеку и шершни мед приносят' (РСАНУ, sv *батли*); *ја сам прави баксуз* 'мне всегда не везет'. Свойство приносить удачу/неудачу другим и самом быть удачливым/неудачливым (vs два значения слова) реализуются не только в паре, но и независимо друг от друга: свойство приносить при встрече удачу или неудачу, по народным представлениям, определяется не только "таланом" человека, но и его профессиональной, половой, национальной принадлежностью (так, *баксузом*, считают любую женщину).

Обозначения удачников семантически производны от терминов со значением положительной "силы, которую человек приносит с собою на свет, которая содержится в человеке, излучается на окружающих" и дается человеку по *Божју наређењу* (по Божьей воле) (Филиповић 1972: 208): с.-х. *бат*, *талија*, болг. *късмет* – значением также специфическим и обнаруживаемом в слав. *strětja* только в определенных типах культурно-языковых контекстов. В Таково об одном человеке рассказывают, что он прошел войну невредимым, потому что *имо неку талију*, а о другом, образованном и богатом и имевшем все условия, чтобы хорошо жить, но тем не менее жившем

очень тяжело и умершем в нищете, что *није имао талију* (Филиповић 1972: 208). Обозначения неудачников семантически производны от термина со значением 'беда, несчастье, неприятность, неудача, зло' (с.-х. *баксуз*), несколько отличного от содержания слова *несрећа* (несмотря на их взаимозаменяемость) тотальным, роковым, неизбывным характером преследующих человека неприятностей (*баксузлук*): *стално ме ео неко доба прати баксузлук, ништа ми не иде од руке* 'меня с некоторого времени постоянно преследуют неудачи, у меня ничего не получается' (Ћупићи, sv *баксузлук*), *терао те баксуз да Бог да цео живот!* 'Чтоб тебя преследовали неприятности всю жизнь' (РСАНУ, sv *баксуз*).

Оставляя пока вне поля нашего рассмотрения культурные факторы, обусловившие проникновение в южнославянские диалекты турецкой лексики судьбы (заметим только, что этот процесс был не только языковым: наряду с лексической парадигмой, славяне заимствовали ориентальные фольклорные тексты о судьбе (Филиповић 1958, 286)), остановимся на внутриязыковых механизмах этого процесса. Одной из существенных причин усвоения заимствований нам представляется асимметрия плана содержания и выражения славянских слов, выражающих целый спектр значений и не всегда однозначно интерпретируемых, что могло создать внутреннюю потребность поля в терминологизации, закреплении самостоятельных знаков за специфическими значениями.

ЛИТЕРАТУРА

Благојевић – Благојевић Н. Обичаји у вези са рођењем, женидбом и смрћу у Титовоужичком, Пожешком и Косјеричком крају // Гласник етнографског музеја у Београду. Књ. 48. Београд, 1984.

Геров Н. – Геров Н. Речник на българский язык. Пловдив, 1904.

Диздар Х. – Диздар Х. Народне приповијетке из Босне и Херцеговине. Сарајево, 1952.

Дучић С. – Дучић С. Живот и обичаји племена Куча // Српски етнографски зборник. Књ. 48. Београд, 1931.

Ђорђевић Т. – Ђорђевић Т. Зле очи у веровању јужних Словена // Српски етнографски зборник. Књ. 53. Београд, 1938.

Караџић В. – Караџић В. Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Београд, 1935.

Митровић Б. – Митровић Б. Речник лесковачког говора. Лесковац, 1984.

РМНП – Речник на македонската народна поезија. Т. 1 – Скопје, 1983–

РСАНУ – Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Т. 1 – Београд, 1959 –.

Самарџија С. – Самарџија С. Народне приповетке у Летопису Матице Српске. Нови Сад – Београд, 1995.

СНПЛ – Српске народне приповетке и предања из Лесковачке области // Српски етнографски зборник. Књ. 94. Београд, 1988.

Ђупић Д., Ђупић Ж. – Ђупић Д., Ђупић Ж. Речник говора Загараца // Српски дијалектолошки зборник. Књ. 44. Београд, 1997.

Филиповић М. – Филиповић М. Вјера и црква у животу Банатских Хера // Бантске Хере. Нови Сад, 1958.

Филиповић М. – Филиповић М. Таковци // Српски етнографски зборник. Књ. 84. Београд, 1972.

Форски Манић Д. – Форски Манић Д. Лужнички речник. Бабушница, 1997.

Чајкановић В. – Чајкановић В. Српске народне приповетке // Српски етнографски зборник. Књ. 41. Београд, 1927.

Шаулић Н. – Шаулић Н. Српске народне приче из збирке народних приповједака Новице Шаулића. Књ. 1. Подгорица, 1922.

Јакушкина Е.И. – Јакушкина Е.И. Добро дело в языке и культуре балканских славян (в печати).

Iveković F., Broz I. – Iveković F., Broz I. Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901.

Научное издание

**Проблемы изучения межъязыковых влияний
в истории славянских
языков и диалектов: социокультурный аспект
Тезисы**

Компьютерная верстка Т.И. Вендина

Подписано к печати 10.11.2004 г. Объем 4,8 п.л.
Тираж 100 экз. Заказ № 117 Цена договорная

Логос ООО «Континент» г. Москва

